

Фернан Бродель

ДИНАМИКА КАПИТАЛИЗМА



«ПОЛИГРАММА»

ДИНАМИКА КАПИТАЛИЗМА

Fernand Braudel

LA DYNAMIQUE DU CAPITALISME

Flammarion

Фернан Бродель

ДИНАМИКА КАПИТАЛИЗМА



Смоленск
«Полиграмма»
1993

**Это издание подготовлено и осуществлено
при поддержке Министерства Иностранных дел Франции
и Отдела Культуры, Науки и Техники
Посольства Франции в Москве**

ISBN 5-87264-010-2

© Les Editions Arthaud, Paris, 1985.

© Оформление, перевод ТОО "Полиграмма", 1992.

В этой небольшой книге воспроизведен текст трех лекций, прочитанных мной в университете Джонса Гопкинса (США) в 1976 году. Эти лекции в английском переводе получили заголовок "*Afterthoughts on Material Civilization and Capitalism*", а затем были переведены на итальянский под заголовком "*La Dinamica del Capitalismo*". В настоящем издании первоначальный текст приведен без каких-либо исправлений; при этом читателю следует иметь в виду, что эти лекции были написаны до выхода в свет книги "*Материальная цивилизация, экономика и капитализм*" в 1979 году в издательстве "Арман Колен". Поскольку указанный труд к этому времени был почти полностью завершен, меня попросили дать в лекциях его самое общее изложение.

Ф.Б.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ПЕРЕОСМЫСЛИВАЯ МАТЕРИАЛЬНУЮ И ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ

Замысел книги *“Материальная цивилизация, экономика и капитализм”*, этого объемистого и честолубивого труда, возник много лет тому назад, в 1950 году. Эту тему мне подсказал, а точнее, дружески навязал Люсьен Февр, только что основавший тогда серию *“Судьбы мира”*, — позднее именно на мою долю выпало продолжить это хлопотное дело после того, как в 1956 году скончался его основатель и руководитель. Сам же Люсьен Февр предполагал написать *“Идеи и верования на Западе с XV по XVIII век”*. Эта книга должна была выйти вслед за моей, составляя ей пару и дополняя ее, однако, к сожалению, она уже никогда не будет опубликована. Так моя книга внезапно и навсегда осталась в одиночестве.

Между тем, хотя в целом этот труд не выходит за пределы экономической области, в ходе работы над книгой мне пришлось столкнуться со множеством проблем, связанных с необходимостью обработки огром-

ной массы документов, со спорами вокруг самого предмета моих занятий — ведь никакой экономики “в себе”, разумеется, не существует, — с теми трудностями, которые вызваны постоянным ростом историографической литературы, поскольку в этот поток непременно, хотя и не сразу, вливаются, желают этого авторы или нет, работы по любым другим наукам о человеке. Нам едва удастся следить за этим непрерывно нарождающимся, год от года меняющимся потоком, — на ходу, часто в ущерб собственным работам, подчиняясь, чего бы это ни стоило, изменчивым требованиям и побуждениям. Что до меня, то я с наслаждением заслушиваюсь этим пением сирен. А годы проходят — и уже не надеешься достичь заветной гавани. Я отдал двадцать пять лет истории Средиземноморья и двадцать — *“Материальной цивилизации”*. Это, конечно же, много, слишком много.

I

История, называемая экономической и представляющая собой еще не вполне сложившуюся дисциплину, не обладает, согласно расхожему и предвзятому мнению, достаточным благородством. Благородная история — это ковчег, который строил Люсьен Февр: ту-

да помещены Мартин Лютер и Франсуа Рабле, но не допущен Якоб Фуггер. Однако, какой бы она ни была — благородной или несколько менее благородной, чем другие, — в экономической истории исследователь-историк сталкивается со всеми теми проблемами, которые вытекают из существа его науки: перед ним — глобальная история людей, хотя и рассматриваемая с определенной точки зрения. Это история тех, кого принято считать крупными историческими фигурами, будь то Жак Кёр или Джон Лоу; в то же время это история великих событий, история конъюнктуры и кризисов, наконец, это также история общественных масс и структур, претерпевающих медленную эволюцию в лоне длительной временной протяженности. Здесь-то и кроется трудность, ибо, когда перед взором предстают четыре века истории всего мира, неизбежно возникает вопрос: как представить такое множество фактов и их объяснений? Разумеется, необходимо выбирать. Я остановил свой выбор на постоянной игре глубинных тенденций к равновесию и его нарушению в длительной исторической перспективе. Действительно, наиболее существенной чертой доиндустриальной экономики мне представляется сосуществование жесткого и неподвижного, тяжеловесного механизма все еще примитивной экономики с локальным и ограниченным, но в то же время живым и мощным ростом современных экономических структур. С одной стороны, мы видим крестьян, живущих в своих деревнях почти без всякой

связи с внешним миром, чуть ли не в полной автаркии; с другой — распространение рыночной экономики и капитализма, растекающихся, подобно масляному пятну, постепенно расширяющих производство и создающих прообраз того мира, в котором мы сегодня живем. Итак, существуют, по меньшей мере, два мира, два жизненных уклада, весьма непохожих друг на друга. Удельный вес каждого из них может быть, однако, взаимно выведен и объяснен исходя из другого.

Я решил начать с инертных структур, чья история, на первый взгляд, темна и недоступна для ясного осознания людьми, являющимися в мире этих стихий скорее объектами, нежели субъектами действий. Именно эти вещи я стремился разъяснить в первом томе своего труда, которому для первого издания в 1967 году я собирался дать название *“Возможное и невозможное: люди и повседневность”*, — затем этот заголовок был заменен на *“Структуры повседневности”*. Но разве в названии дело? Ведь объект исследования в любом случае предельно ясен — при всей случайности и неполноте научного поиска, таящего массу ловушек и недоразумений. Действительно, те слова, которыми приходится пользоваться: повседневность, структуры, глубина — сами по себе достаточно расплывчаты. При этом в данном случае речь не может идти о расплывчатости бессознательного в психоаналитическом смысле, хотя и этот аспект в известной мере может оказаться затронутым и, вероятно, еще предстоит от-

крыть феномен коллективного бессознательного, реальность которого не давала покоя Карлу Густаву Юнгу. Однако, как правило, эта большая тема затрагивается нами лишь в своих самых незначительных проявлениях. Она еще ждет своего исследователя.

Что же касается меня, то я остался в кругу конкретных критериев. Исходным моментом для меня была повседневность — та сторона жизни, в которую мы оказываемся вовлечены, даже не отдавая в том себе отчета, — привычка, или даже рутина, эти тысячи действий, протекающих и заканчивающихся как бы сами собой, выполнение которых не требует ничего решения и которые происходят, по правде говоря, почти не затрагивая нашего сознания. Я полагаю, что человечество более чем наполовину погружено в такого рода повседневность. Неисчислимы действия, передававшиеся по наследству, накапливающиеся без всякого порядка, повторяющиеся до бесконечности, прежде чем мы пришли в этот мир, помогают нам жить — и одновременно подчиняют нас, многое решая за нас в течение нашего существования. Здесь мы имеем дело с побуждениями, импульсами, стереотипами, приемами и способами действия, а также различными типами обязательств, вынуждающих действовать, которые порой, причем чаще, чем это можно предполагать, восходят к самым незапамятным временам. Это очень древнее, но все еще живое многовековое прошлое вливается в современность подобно тому, как Амазонка

выбрасывает в Атлантический океан огромную массу своих замутненных вод.

Все это я и попытался охватить удобным, но неточным, как и любое слово со слишком широким значением, термином *“материальная жизнь”*. Конечно, это составляет лишь одну сторону деятельной жизни людей, по своей природе столь же изобретательных, сколь и склонных к рутине. Однако, повторяю, я даже не пытался с самого начала строго очертить границы и определить природу этой жизни, скорее, пассивно претерпеваемой, нежели проводимой в активных действиях. Мне хотелось увидеть самому и показать другим эту обычно едва замечаемую историю — как бы слежавшуюся массу обыденных событий, — погрузиться в нее и освоиться в ней.

Потом, но лишь только потом, настанет время выйти из нее наружу. Первое и весьма глубокое впечатление, которое получаешь сразу после этой подводной охоты, это представление о том, что ты плывал в очень древних водах, находился внутри истории, для которой времени, в определенном смысле, не существует, где находишь почти ту же историческую реальность, возвращаясь на два-три века или на десять веков назад, и которую иногда еще сегодня, но лишь на какое-то мгновение, нам удастся увидеть собственными глазами. Материальная жизнь, как я ее понимаю, это то, что за долгие века предшествующей истории вошло в плоть самих людей, для которых опыт и за-

блуждения прошлого стали обыденностью и повседневной необходимостью, ускользающей от внимания наблюдателя.

II

Такова путеводная нить моей первой книги. Ее цель — доскональное исследование упомянутых сторон жизни. Сами ее главы — достаточно взглянуть на их названия — представляют собой как бы перечень темных сил, чья скрытая работа движет вперед материальную жизнь, а за ее пределами и где-то высоко над ней — всю историю людей.

Первая глава носит название “Бремя количества”. К продолжению рода людей, как и все живое, подталкивает, главным образом, биологический инстинкт, “весенний тропизм”, как говоил Жорж Лефевр. Но существуют и другие тропизмы, другие императивы. Эта пребывающая в вечном движении человеческая материя управляет, хотя отдельные люди этого не осознают, значительной частью судеб всех живущих. Существуя в тех или иных общих условиях, люди каждый раз оказываются то слишком многочисленными, то недостаточно многочисленными; конечно, демографические колебания стремятся к равновесию, однако по-

следнее достигается редко. Начиная с 1450 года, население Европы быстро возрастало: необходимо было компенсировать — и такая возможность тогда появилась — огромные потери населения, вызванные в предыдущем веке “черной смертью”. Рост населения продолжался до следующего спада. Сменяющие друг друга, почти предсказуемые для наблюдателя-историка, периоды роста и сокращения населения очерчивают и вскрывают закономерную и долговременную тенденцию, которая будет наблюдаться вплоть до XVIII века. И лишь в XVIII веке будут взорваны границы невозможного и будет преодолен до той поры недоступный предел. С этого времени рост численности населения не прекращался и тенденция эта не менялась. Может ли она завтра оказаться обращенной вспять?

Как бы то ни было, до XVIII века человечество было как бы заключено в замкнутый круг, граница которого была для этой живой системы практически недоступна. Едва эта граница достигалась, как следовало попятное движение, откат. Причин и поводов для восстановления равновесия было немало: нищета, неурожай, голод, тяжелые условия повседневного существования, войны и особенно многочисленные болезни. Они и сегодня угрожают людям, но вчера это было бедствие апокалипсического масштаба — взять ли чуму, регулярные эпидемии которой прекратились в Европе лишь в XVIII веке, или тиф, который вместе с суровой зимой сковал армию Наполеона в самом сердце

России; взять ли оспу и брюшной тиф с их эндемическими вспышками; туберкулез, издавна известный в деревнях, а в XIX веке наводнивший города, где, главным образом, он и приобрел свой романтический ореол; наконец, венерические болезни, сифилис, вернувшийся после открытия Америки в Европу и буквально запленивший ее в результате взаимодействия различных видов его возбудителя. Добавим сюда низкий уровень гигиены, плохое качество питьевой воды...

Как же человеку, существу столь хрупкому от рождения, устоять перед всеми этими напастями? Детская смертность в этот период необычайно высока, как сегодня или в недавнем прошлом в некоторых развивающихся странах, а санитария находится в зачаточном состоянии. Мы располагаем сотнями отчетов о вскрытиях, начиная с XVI века. Это ошеломляющие документы. Описания деформаций и повреждений тела и кожи, невообразимых колоний паразитов в легких и внутренностях изумили бы современного врача. Таким образом, до недавнего времени над историей людей неумолимо господствовала нездоровая биологическая среда. Об этом следует помнить, когда задаешься вопросами: сколько их было? чем они страдали? способны ли они были бороться со своими болезнями?

В следующих главах ставятся новые вопросы: что они ели? что пили? как одевались? Это неудобные вопросы: чтобы ответить на них, нужно предпринять целую экспедицию в прошлое — ведь, как известно, в

традиционных исторических трудах люди не едят и не пьют. Между тем издавна — и справедливо — говорят: *“Der Mensch ist was er isst”* (“Человек есть то, что он ест”), однако, вероятно, говорят это лишь ради игры слов, которую допускает немецкий язык. Я же думаю, что не следует отмахиваться, как от несущественной детали, от появления стольких пищевых продуктов — от сахара, кофе и чая до спиртного. Каждый раз в таких случаях мы имеем дело с одним из бесчисленных и мощных приливов истории. Во всяком случае, невозможно преувеличить значение злаков, этих господствующих культур в питании прошлых времен. Пшеница, рис и кукуруза явились результатом очень древнего отбора и бессчетного ряда экспериментов, определив, в результате многовековых “отклонений” (по выражению Пьера Гуру, самого великого из французских географов), выбор цивилизации. Пшеница, занимающая огромные площади, требующая, чтобы земля регулярно отдыхала, позволяет и предполагает занятие животноводством; можно ли вообразить историю Европы без домашних животных, плугов, упряжек, повозок? Культура же риса возникает на основе своего рода огородничества, интенсивного земледелия, не оставляющего места для животных. Что касается кукурузы, то это, несомненно, самая удобная культура, из нее легче всего готовить повседневные блюда, ее возделывание оставляет немалый досуг — отсюда привлечение крестьян к государственным работам и цикло-

пические памятники индейских цивилизаций. Так не-востребованная рабочая сила была употреблена обществом для своих целей. Можно было бы также обсудить проблемы рационов и калорий, обеспечиваемых этими культурами, проблемы нехватки продуктов и изменения структуры их потребления на протяжении веков. Не правда ли, этот сюжет будет не менее увлекательным, чем судьба империи Карла V или эфемерный и сомнительный блеск, сопровождавший так называемое французское господство в век Людовика XIV. И, конечно же, поучительным: разве история допингов прошлого — спиртного и табака, в частности, та стремительность, с которой табак завоевал весь мир, не является предупреждением о еще больших опасностях современных допингов?

Аналогичным образом дело обстоит и с техникой. Ее история поистине полна чудес и в то же время тесно связана с трудом людей и их крайне медленными успехами в повседневной борьбе с окружающей средой и с самими собой. К технике относится все — и мощные усилия, и упорные и монотонные движения человека, обрабатывающего камень, кусок дерева или железа, чтобы сделать из него орудие труда или оружие. Как видите, это весьма приземленная деятельность, консервативная по своей природе, очень *медленно изменяющаяся*, и наука (которая является ее позднейшей суперструктурой) крайне медленно развивается — если и развивается — на ее основе. Высокая кон-

центрация экономики вызывает концентрацию технических средств и развитие технологии; этот процесс можно проследить на примере Арсенала в Венеции XIV века, примерах Голландии XVII века, Англии XVIII века. В каждом таком случае в дело вступает наука, какой бы рудиментарной она в то время ни была. Она просто принуждена к участию.

Издавна все технические приемы, все элементы научного знания являлись предметом постоянного обмена, непрерывно распространяясь по всему миру. Однако есть вещи, которые распространяются с трудом — навесной руль плюс использование соединения “стык внакрой” при обшивке корпуса судна, плюс артиллерия на борту, плюс плавание в открытом море и на дальние расстояния. Таков и капитализм, представляющий собой сумму привычек, способов, ухищрений, достижений. Не дальнее ли плавание вкупе с капитализмом обеспечили превосходство Европы — просто в силу того, что эти новшества не получили массового распространения?

Но, спросите вы, почему последние две главы посвящены деньгам и городам? Разумеется, я хотел вывести эти вопросы за пределы следующего тома. Но дело, конечно, не только в этом. Истина в том, что эти два явления принадлежат одновременно и повседневности самых древних времен, и самой непосредственной современности. Деньги — это очень старое изобретение, если понимать под ними средство ускорения об-

мена. А без обмена нет общества. Что касается городов, то они существуют с доисторических времен. И то, и другое — это многовековые структуры самой обычной жизни. Но это также и мощные ускорители, способные адаптироваться к изменениям и, в свою очередь, их стимулировать. Можно сказать, что города и деньги породили современный мир, но возможно, в соответствии с правилом обратимости, столь ценным Жоржем Гурвичем, и заявление о том, что дух современности, динамика жизни человеческих масс способствовали экспансии денег и создали растущую тиранию городов. Города и деньги являются одновременно и двигателем, и показателем развития; они вызывают изменения и указывают на них. Но при этом они также являются их следствием.

III

Выходит, не так-то просто охватить мыслью огромное царство привычного, рутинного, “этого великого отсутствующего истории”. В действительности же, привычное пронизывает все стороны жизни людей, наполняет ее, как вечерние сумерки наполняют окрестности. Однако этот сумеречный — из-за недостатка памяти и проницательности — исторический пейзаж

неоднороден: в нем встречаются более темные и более светлые места. Было бы важно обозначить границу между светом и тенью, между рутинной и сознательным решением. Такая разница могла бы ясно отличить то, что находится справа и слева от наблюдателя, а точнее — сверху и снизу от него.

Итак, представьте себе огромную и многообразную сеть, состоящую из всей совокупности простейших рынков, имеющих в некотором данном регионе, рынков, с зачастую весьма скромным потоком товаров, и которые видятся наблюдателю как некая россыпь точек. С этих многочисленных устьиц начинается то, что мы называем экономикой обмена, связывающей две обширные области — область производства и область потребления. В период Старого Порядка, между 1400 и 1800 годами, экономика обмена была еще очень несовершенной. Она, безусловно, уходит своими корнями в глубь веков, однако в упомянутый период она еще не в состоянии соединить всю сферу производства со всей сферой потребления, поскольку значительная доля производства не включается в сферу рыночного обращения, работая на натуральное потребление, не выходящее за пределы семьи или сельской общины.

Отметив это несовершенство, следует, однако, признать, что *рыночная экономика* развивается, что она уже объединяет достаточное количество малых и больших городов, чтобы оказывать организующее вли-

яние на производство, направлять и стимулировать потребление. Для этого, безусловно, потребуются века, однако между этими двумя мирами — производством, где все рождается, и потреблением, где все разрушается, — именно она является связующим звеном, двигателем, тем узким, но чрезвычайно активным пространством, где зарождаются живые импульсы, стимулы, нововведения, инициативы, озарения, динамика роста и сам прогресс. Мне нравится, хотя я и не разделяю ее полностью, мысль Карла Бринкмана, заметившего, что экономическая история сводится к истории рыночной экономики — от ее возникновения до ее возможного конца.

Поэтому я долгое время наблюдал, описывал, возвращал к жизни простейшие рынки, о которых мне удавалось собрать необходимые сведения. Через них проходит граница, отмечающая нижний уровень экономики. Все, что осталось за пределами рынка, имеет лишь потребительскую стоимость, все, что сумело пройти в его тесные врата, приобретает обменную стоимость. В зависимости от того, с какой стороны элементарного рынка находится индивид, он будет или не будет участником обмена, того, что я называю *экономической жизнью*, в отличие от *материальной жизни*, но также и в отличие от *капитализма*, — однако на последнем отличии мы остановимся позже.

Странствующий ремесленник, предлагающий то в одном, то в другом городке свои услуги плетельщика

соломенных стульев или трубочиста, будучи весьма скромным потребителем благ, все же принадлежит миру рынка — именно к нему он обращается за ежедневным пропитанием. Если у него сохранились связи с родной деревней и на время жатвы или сбора винограда он возвращается к крестьянскому труду, то значит, он снова пересекает границу рынка, только в обратном направлении. Крестьянин, который регулярно сам реализует часть своего урожая и регулярно покупает орудия труда и одежду, уже принадлежит рыночной сфере. Тот же, что едет в город продать немного продуктов, яйца, птицу, чтобы уплатить налоги или купить лемех для плуга, лишь приближается к границе рыночной сферы, оставаясь частью огромной массы натурального хозяйства. Разносчик, торгующий небольшим количеством товара на городских улицах или по деревням, находится в пространстве обмена, расчетов, баланса долга и наличности, какими бы скромными ни были эти расчеты и обмены. Что касается лавочника, то он положительно является субъектом рыночных отношений. Он либо продает то, что производит, и в этом случае он — ремесленник, хозяин лавки-мастерской, либо торгует тем, что произвели другие, тогда он переходит в категорию торговцев. Лавка, открытая ежедневно, обладает тем преимуществом, что в ней возможен постоянный обмен. в то время как рынок работает один-два раза в неделю. Более того, в лавке обмен сочетается с кредитом, так как лавочник

получает свои товары в кредит и продает также в кредит. Таким образом, обмен здесь пронизан чередой долгов и кредитов.

По отношению к рынкам и субъектам обмена элементарного уровня более высокое положение занимают ярмарки и биржи (ярмарки проводятся регулярно в одном и том же месте в определенное время и продолжаются несколько дней, а биржи открыты ежедневно). Даже если на ярмарках обычно находится место для мелкой розничной торговли и купцов с небольшим капиталом, на них, как и на биржах, господствуют крупные дельцы, получившие вскоре название негоциантов, которые розничной торговлей не занимаются.

В первых главах второго тома моей книги, названного “Игры обмена”, я детально описал различные элементы экономики, стараясь представить предмет моего исследования со всеми возможными подробностями. Я, по-видимому, слишком увлекся, и читатель, скорее всего, найдет изложение затянутым. Но, с другой стороны, что плохого в том, если вначале история будет заниматься простым наблюдением, описанием, классификацией фактов, без каких-либо особых, заранее принятых теоретических установок. Увидеть и показать прошлое — уже половина нашей задачи. Причем, увидеть, по возможности, собственными глазами. Ибо, уверяю вас, нет ничего проще в Европе — я не говорю о Соединенных Штатах, — чем застать рынок на городской улице или лавку совсем как в былые вре-

мена, или встретить торговца вразнос, который охотно расскажет вам о своих странствиях, увидеть ярмарку или биржу. Поезжайте в Бразилию, глубинку штата Баия, или в Кабилию, или в Черную Африку, и перед вами предстанут воочию еще сохранившиеся архаичные рынки. А кроме того, если, конечно, есть желание их читать, существуют тысячи документов, рассказывающих об обмене в прошлые времена: городские архивы, нотариальные книги, документы полиции и столько рассказов путешественников, не говоря уже о картинах художников.

Возьмем, к примеру, Венецию. Гуляя по этому городу, сохранившемуся в столь чудесной неприкосновенности, после посещения архивов и музеев, можно восстановить почти во всех деталях картины прошлого. В Венеции не было ярмарок, точнее, уже не было ярмарок товаров — ярмарка Вознесения (*Sensa*) была праздником с балаганами купцов на площади Св.Марка, маскарадом, музыкой и ритуальным зрелищем венчания дожа с морем против церкви Сан Николо. На площади Св.Марка было несколько рынков, в частности, рынки драгоценных украшений и не менее драгоценных мехов. Но уже тогда, как и ныне, главным местом торговли была площадь Риальто, напротив моста и здания Немецкого двора (*Fondaco dei Tedeschi*), где сегодня находится Главный почтамт Венеции. Около 1530 года Аретино, живший в собственном доме на Большом канале (*Canal Grande*), любил

наблюдать за прибытием кораблей, груженных фруктами и горами дынь, следовавших с островов лагуны к этому “чреву” Венеции, — ибо старая и новая площади Риальто (*Rialto Nuovo* и *Rialto Vecchio*) являлись “чревом” и активным центром любых операций обмена, любых сделок, больших и малых. В двух шагах от шумных прилавков этой двойной площади каждое утро встречались крупные негодцианты Венеции в своей Лоджии (*Loggia*), построенной в 1455 году, — можно сказать на своей Бирже, — неприметно обсуждая свои дела, договариваясь о страховании судов, фрахте, покупая и продавая товар, заключая контракты между собой или с иностранными купцами. Чуть дальше располагались банкиры в своих тесных лавках, готовые тут же оформить эти сделки, переводя деньги со счета на счет. Так же совсем рядом, на своих нынешних местах находились овощной рынок (*Herberia*), рыбный рынок (*Pescheria*), и немного дальше, на старинной улице Ка Куарини, мясники (*Beccarie*), по соседству с церковью Св.Матфея, церковью мясников, разрушенной лишь в конце XIX в.

Нас несколько обескуражил бы шум Амстердамской биржи XVII века, однако современный биржевой маклер, если бы он полюбопытствовал прочесть удивительную книгу Хосе де Ла Вега “Путаница путаниц” (*“Confusión de confusiones”*, 1688), без труда освоился бы в уже достаточно сложной и хитроумной игре на покупке и продаже акций, которыми, впрочем,

не владели ни покупатели, ни продавцы, — при этом использовались вполне современные способы. Посетив в Лондоне Аллею обменов (*Change Alley*), можно было убедиться, что там действуют те же пружины и в ходу те же ухищрения.

Однако довольно примеров. Выше, несколько упрощая, мы выделили два уровня рыночной экономики: нижний этаж, с его рынками, лавками, торговцами вразнос, и верхний, на котором располагаются ярмарки и биржи. Возникают два вопроса. Первый: каким образом эти орудия обмена могут нам помочь объяснить в целом превратности развития европейской экономики при Старом Порядке. между XV и XVIII веком? Второй: каким образом, исходя из сходств и различий, они могут прояснить для нас действие механизмов неевропейской экономики, о которой мы только начинаем кое-что узнавать? Именно на эти вопросы нам хотелось бы дать ответ в заключительной части данной лекции.

IV

Вначале кратко охарактеризуем ход вещей на Западе в течение этих четырех веков — XV, XVI, XVII и XVIII.

В XV веке, особенно после 1450 года, происходит общий экономический подъем, от которого выигрывают города, чему способствует рост цен на ремесленные товары, в то время как цены на сельскохозяйственную продукцию остаются прежними или даже снижаются. В результате развитие городов начинается раньше, чем развитие сельских районов. Здесь невозможна ошибка — в это время движущая роль принадлежит лавкам ремесленников или, еще точнее, городским рынкам. Именно они диктуют свои законы. Так экономический подъем проявляется на нижнем уровне экономической жизни.

В следующем веке, когда запущенный механизм усложняется уже в силу того, что он вновь обрел утраченную скорость (XIII век и XIV век до нашествия “черной смерти” были периодом явного ускорения), а также в силу расширения экономики атлантического ареала, движущие факторы развития перемещаются на уровень международных ярмарок — в Антверпене, Берген-оп-Зоме, Франкфурте, Медине дель Кампо, Лионе, ставшем на краткое время центром всего Запада; а позже, в течение по меньшей мере 40 лет (с 1579 по 1621) господства генуэзцев, неоспоримо контролировавших международные денежные потоки, — на уровень так называемых безансонских ярмарок с их весьма мудреным механизмом, где объектом сделок были лишь деньги, кредиты и платежные средства. Раймонд де Роувер, в силу врожденной осторожности

мало склонный к обобщениям, без колебаний заявлял, что на XVI век приходится апогей крупных ярмарок. Расцвет этого столь активного века в конечном счете связан с бурным развитием верхнего этажа рыночной экономики, ее суперструктуры, и в результате — экспансией этой суперструктуры, набухшей от тогдашнего притока драгоценных металлов из Америки, и в еще большей степени — с установлением системы нескончаемого обмена, породившей быстрое обращение большой массы кредитов и ценных бумаг. Это хрупкое творение гемуэзских банкиров разрушится в 20-е годы XVII века — под действием тысяч причин.

Экономически активная жизнь XVII века, освобожденная от чар Средиземноморья, развивается в обширной зоне Атлантики. Этот век историки нередко описывали как период отступления и экономического спада. Такая картина, однако, нуждается в уточнениях. Ибо, если прорыв XVI века был, без сомнения, остановлен как в Италии, так и в других странах, то фантастическое возвышение Амстердама не вписывается в представления об экономическом маразме. По одному пункту, во всяком случае, между историками расхождений нет: продолжающаяся экономическая деятельность основывается на решительном возврате к товару как первичной ценности, к обмену, в основном, на базовом уровне, — к выгоде для Голландии, ее флота и Амстердамской биржи. Одновременно ярмарка уступает свое значение бирже, торговому учрежде-

нию, которое относится к ярмарке точно так же, как обычная лавка к городскому рынку, т.е. как постоянный поток товаров к их периодическому предложению. Это все хорошо известные вещи, так сказать, классика. Однако дело не только в бирже. За блеском Амстердама наблюдатель рискует не заметить других, более обычных достижений. Действительно, XVII век стал также свидетелем массового процветания лавок — иными словами, и на этом уровне победил постоянно функционирующий рынок. Число лавок возрастает во всей Европе, которую они покрывают густой сетью розничной торговли. В 1607 году Лопе де Вега сказал о Мадриде Золотого века: *"todo se ha vuelto tiendas"* ("все здесь превратилось в лавки").

В XVIII веке, веке всеобщего экономического ускорения, используются, согласно логике развития, все орудия обмена: расширяется деятельность бирж, Лондон стремится потеснить Амстердам, который в этих условиях избирает путь специализации, став крупнейшим центром международных займов, в этих опасных играх участвуют Женева и Генуя, пробуждается и подключается к этой деятельности Париж; в результате всего этого деньги и кредиты все более и более свободно перемещаются по Европе. В этих обстоятельствах ярмарки естественно становятся убыточными: будучи созданы с целью активизации традиционных форм обмена путем предоставления, кроме всего прочего, налоговых преимуществ, они утрачивают смысл

своего существования в период свободных обмена и кредитов. Однако, вступая в полосу упадка там, где развитие идет быстрыми темпами, ярмарки удерживают позиции и даже переживают период расцвета в отсталых областях с традиционной экономикой. Поэтому перечисление активно действующих ярмарок XVIII века равнозначно указанию на маргинальные регионы европейской экономики. Во Франции — это зона вокруг Бокера, в Италии — Альпы (Больцано) и Юг (*Mezzogiorno*). В еще большей степени это относится к Балканам, Польше, России, а на Западе, по другую сторону Атлантики — к Новому Свету.

Надо ли говорить, что в этот период возросшего обмена и потребления элементарные городские рынки и лавки оживлены как никогда. Последние распространяются даже в деревнях. Даже торговцы вразнос удешевляют свою активность. Наконец развивается то, что английские историки называют выражением *private market** в противоположность *public market***. Последний находится под бдительным контролем городских властей, в то время как первый ускользает от всякого контроля. Этот *private market*, который задолго до наступления XVIII века стал устанавливать по всей Англии систему прямых закупок товаров у производителей, нередко с предварительной оплатой, закупок у

* частный рынок (англ.)

** общественный рынок (англ.)

крестьян, находившихся вне сферы рынка, шерсти, зерна, полотна и т.п., — означал организацию, в противовес традиционной регламентации рынка, самостоятельных коммерческих цепочек, весьма длинных и свободных в своих действиях, и которые, впрочем, без всякого стеснения пользовались этой свободой. Они утвердились благодаря своей эффективности, а также учитывая необходимость крупных поставок армии и крупным городам. “Чрево” Лондона, “чрево” Парижа оказывали революционизирующее действие. Короче, XVIII век развил в Европе все, включая “противорынок”.

Все это верно для Европы. До сих пор мы говорили исключительно о ней. И не потому, что нам хотелось все свести к ее частному случаю под влиянием слишком удобной концепции евроцентризма. Дело просто в том, что профессия историка получила преимущественное развитие в Европе, и историк естественно привязан к своему прошлому. Однако несколько десятилетий назад все изменилось. В Индии, Японии, Турции идет систематическая обработка документальных источников, и мы начинаем узнавать историю этих стран не только по рассказам путешественников или книгам европейских историков. Мы знаем уже достаточно, чтобы задаться следующим вопросом: если механизмы обмена, описанные выше применительно к Европе, существуют и за ее пределами — а они существуют в Китае, Индии, странах Ислама, Японии, —

то можно ли на их основе попытаться провести сравнительный анализ? Его цель могла бы состоять в установлении положения неевропейских стран относительно Европы и выяснения вопроса о том, можно ли было еще до промышленной революции усмотреть разрыв между Европой и остальным миром, разрыв, превратившийся в XIX в. во все увеличивающуюся пропасть, иными словами, вопрос о том, опережала ли уже тогда Европа весь остальной мир или нет.

Первое, что можно отметить, обратившись к неевропейским странам, это то, что повсюду существуют рынки, даже в едва зародившихся обществах в Черной Африке или у американских индейцев. Тем более это верно для развитых обществ с высокой плотностью населения, которые буквально наспигованы простейшими рынками. Одно небольшое усилие — и эти рынки у нас перед глазами, они еще живут или их жизнь легко может быть воссоздана. В странах Ислама города практически лишили деревни их рынков, поглотив последние, подобно тому, как это произошло в Европе. Самые крупные из этих рынков располагались у монументальных городских ворот, на площади, не принадлежащей, строго говоря, ни городу, ни деревне, где горожанин и крестьянин встречались как бы на нейтральной территории. Небольшие местные рынки возникали и в самих городах, на их узких улицах и тесных площадях. Там можно было купить хлеб, некоторые другие товары и, в отличие от европейских рын-

ков, множество готовых блюд: рубленые мясные котлеты, жареные бараньи головы, оладьи, сладости. Существовали и крупные торговые центры — *фондуки*, *базары*, как Бешистан в Стамбуле; они объединяли в себе открытые и крытые на европейский манер рынки, а также множество лавок.

В Индии наблюдалась следующая особенность: не было ни одной деревни, которая не имела бы своего рынка. Это объяснялось необходимостью обращать в деньги, пользуясь услугами торговца-бани, подати сельской общины, собиравшиеся натурой, чтобы затем выплачивать их либо Великому Моголу, либо феодалам из его свиты. Следует ли усматривать в существовании этой огромной туманности деревенских рынков недостаточную хватку городской экономики в Индии? Или, наоборот, считать, что торговец-бания участвует в некоей разновидности *private market*, скупая продукцию там, где она производится, в самой деревне?

Самая удивительная организация на уровне простейших рынков обнаруживается, без сомнения, в Китае, где она принимает географически точную, почти математическую форму. Возьмем местечко или маленький город. Обозначим его точкой на листе бумаги. Вокруг этой точки располагаются 6-10 деревень — на расстоянии, позволяющем крестьянину в течение дня добраться до городка и вернуться назад. Этот геометрический объект, состоящий из центра и десяти окружающих его точек, мы назовем кантоном. Это и бу-

дет зона действия местного рынка. В реальной жизни этот рынок рассредоточивается по улицам и площадям городка, включая в себя лавки перекупщиков, ростовщиков, наемных писцов, торговцев мелким товаром, чайные домики и заведения, где предлагают рисовую водку. У.Скиннер прав, говоря, что базовой ячейкой крестьянского Китая является не деревня, а именно эта кантональная структура. Нетрудно понять, что эти местечки, в свою очередь, тяготеют к более крупному городу, располагаясь вокруг него на подобающем расстоянии, поставляя в него продукты и получая через него доступ к далеким торговым путям и товарам, которые не производятся на месте. О том, что все упомянутые рынки составляют систему, ясно говорит тот факт, что календарь рыночных дней в различных местечках и городе составлен таким образом, чтобы их даты не совпадали. Торговцы вразнос и ремесленники постоянно переходят из местечка в местечко, с рынка на рынок, ибо, как известно, в Китае лавочки и ремесленные мастерские являются передвижными, поэтому тот, кто нуждается в их услугах, идет на рынок, а кузнец или цирюльник приходят к клиенту на дом. Короче, вся масса китайской экономики пронизана и приводится в действие цепью регулярных рынков, связанных друг с другом и находящихся под плотным контролем.

Лавок и торговцев вразнос великое множество, они буквально кишат, однако ярмарок и бирж, представ-

ляющих высшие механизмы обмена, практически нет. Правда, в качестве маргинальных явлений на границе с Монголией или в Кантоне действуют несколько ярмарок, но они организованы скорее для иностранных купцов и позволяют помимо всего осуществлять за ними наблюдение.

Выходит одно из двух: либо правительство проявляет враждебность к этим высшим формам обмена, либо капиллярной сети элементарных рынков достаточно для китайской экономики — артерии и вены ей просто не нужны. По той или другой причине, или по обоим сразу, обмен в Китае приобретает спрямленный, сглаженный, лишенный вершины профиль, и мы увидим в одной из следующих лекций, что это во многом определило отсутствие развития капитализма в Китае.

Верхние этажи обмена лучше просматриваются в Японии, где сообщество крупных торговцев имело безупречную организацию. Они отчетливо заметны также в странах Малайского архипелага, этого древнего перекрестка торговых путей. Там периодически проходили ярмарки и имелись биржи, если понимать под этим словом ежедневные собрания крупных купцов данной местности, как это было в Европе в XV-XVI веке и даже несколько позднее. Так, в Бантаме, городе, расположенном на острове Ява и бывшем в течение долгого времени, даже после основания в 1619 году Батавии, самым активным центром острова, негоциан-

ты ежедневно собирались на одной из городских площадей в часы, когда рынок заканчивал торговлю.

Индия — это, по преимуществу, страна ярмарок, являвшихся одновременно гигантскими торговыми и религиозными мероприятиями, ибо устраивались они, как правило, в местах паломничества. Весь полуостров приходил в движение во время их проведения. Отдадим дань восхищения их массовости и размаху, однако, с другой стороны, не являются ли они признаком традиционной экономики, обращенной в известном смысле к прошлому? Напротив, хотя ярмарки и существовали в исламском мире, они не были ни такими многочисленными, ни такими крупными как в Индии. Исключения, вроде ярмарки в Мекке, лишь подтверждают правило. В самом деле, города исламских стран, сверхразвитые и сверхдинамичные, обладали механизмами и орудиями высших уровней обмена. Простые векселя имели там столь же обычное хождение как и в Индии и сочетались с прямыми платежами в наличных деньгах. Целая система кредитов связывала мусульманские города с Дальним Востоком. Один английский путешественник, возвращавшийся в 1759 году из Индии, отправляясь из Басры в Константинополь и не желая вносить свои деньги на депозитный счет в отделении Ист-Индийской Компании в Сурате, оставил 2000 пиастров наличными одному банкиру в Басре, который вручил ему переводный вексель, составленный на *“лингва франка”*, который следовало

предъявить его коллеге в Халебе. Теоретически, путешественник должен был неплохо заработать на этой операции, однако выигрыш оказался значительно меньше ожидаемого. Раз на раз, как говорится, не приходится.

Обобщим сказанное. Если сравнивать европейскую экономику с экономикой остального мира, то, как представляется, она обязана своим более быстрым развитием превосходству своих экономических инструментов и институтов — биржам и различным формам кредита. Между тем, все без какого-либо исключения механизмы и ухищрения обмена можно обнаружить и за пределами Европы. Степень их развития и использования там различны, при этом можно выстроить определенную иерархию: почти достигает верхнего уровня Япония, а также, возможно, страны Малайского архипелага и Ислама; там же, безусловно, располагается и Индия с ее развитой сетью кредита, обслуживаемой торговцами-бания, с ее практикой денежных ссуд под рискованные предприятия и страхования судов. Этажом ниже находится Китай с его традицией самодостаточности. Наконец, непосредственно под ними гнездятся тысячи экономик, не вышедших из примитивного состояния.

Тот факт, что мы установили классификацию экономик мира, не лишен определенного значения. Я буду исходить из этой иерархии в следующей главе, где я попытаюсь оценить позиции, занимаемые рыночной

экономикой и капитализмом. В самом деле, такое упорядочение по вертикали делает анализ более продуктивным. Над огромной массой повседневной материальной жизни растянула сеть своих очагов рыночная экономика, постоянно поддерживающая жизнь своих структур. И обычно лишь еще выше, наслаиваясь на рыночную экономику, развивается и процветает капитализм. Можно сказать, что при таком подходе видна экономическая жизнь всего мира как бы на настоящей рельефной карте.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ИГРЫ ОБМЕНА

В своей предыдущей лекции я отметил то особое место, которое в период с XV по XVIII век занимал огромный сектор самодостаточного натурального хозяйства, остававшегося, в основном, совершенно чуждым экономике обмена. Даже в Европе, наиболее развитой части мира, вплоть до XVIII века, и даже позднее, имелись многочисленные зоны, мало участвовавшие в общей жизни континента и упорно продолжавшие вести замкнутое существование в условиях почти полной изоляции.

Сегодня я хотел бы остановиться на вещах, относящихся непосредственно к обмену, для обозначения которых будут использованы два термина: *рыночная экономика* и *капитализм*. Использование двух терминов указывает на то, что мы предполагаем различать оба эти сектора, которые, на наш взгляд, не сливаются в единое целое. Повторим, впрочем, что эти два рода

деятельности — *рыночная экономика и капитализм* — до XVIII века оставались в меньшинстве и что огромная масса человеческих действий охватывалась, поглощалась огромной сферой *материальной жизни*. Если рыночная экономика и распространялась вширь, если она и покрывала уже обширные пространства и достигла зримых успехов, то слой ее был все еще по-прежнему тонок. Что же касается той реальности Старого Порядка, которую я — правильно или не вполне правильно — называю *капитализмом*, то она принадлежит блестящему, усложненному, но весьма узкому слою, не охватывающему всей экономической жизни, и не создававшему — здесь исключения лишь подтверждают правило - собственного “способа производства”, который обладал бы внутренней тенденцией к самораспространению. И даже так называемый торговый капитализм был пока еще далек от того, чтобы овладеть и управлять рыночной экономикой в целом, хотя последняя и является необходимым предварительным условием его господства. И все же роль капитализма на национальном, международном и мировом уровне становилась уже очевидной.

Рыночная экономика, о которой я уже говорил в первой главе, предстает перед нами в достаточно ясном и недвусмысленном виде. По правде говоря, историки отводили ей главенствующее место. Именно к ней приковано всеобщее внимание. По сравнению с ней, производство и потребление представляют собой еще мало обследованные континенты, их количественный анализ пребывает в начальном состоянии. Эти миры нелегко понять. Напротив, вокруг рыночной экономики не утихают разговоры. Ей посвящены многие страницы архивных документов — в городских архивах и частных семейных архивах купцов, документы судебных органов и полиции, записи дебатов в торговых палатах, книги нотариусов... Как же ее не заметить и как ею не заинтересоваться? Она так и не сходит со сцены.

Возникает, естественно, опасность, что лишь она останется в поле зрения, лишь ее будут описывать во всем великолепии жизненных подробностей, упорно создающих иллюзию ее непосредственной реальности, в то время как она — лишь часть обширного целого, которой сама ее природа отводит скромную роль связующего элемента между производством и потребле-

нием, и которая до XIX века представляла собой лишь более или менее плотный и прочный слой, простертый между океаном повседневной жизни, служащим ей опорой, и процессами капитализма, которые в доброй половине случаев оказывали на нее управляющее воздействие.

Немногие историки ясно осознают наличие этого предела, который, ограничивая рыночную экономику, определяет ее сущность и указывает на ее подлинную роль. Витольд Кула как раз принадлежит к тем немногим, на кого не производят чрезмерного впечатления колебания рыночных цен, их всплески и падения, их кризисы, их далекие корреляции и тенденции к выравниванию — короче, все, что делает ощутимым постоянное увеличение объема обменов. Воспользуемся одним из созданных им образов: важно всегда заглядывать на дно колодца, достигая взглядом глубоко лежащей массы воды — *материальной жизни*, которую, конечно, затрагивают рыночные цены, однако далеко не всегда проникая в нее и увлекая ее за собой. Так и любая экономическая история будет катастрофически неполной, если она не сумеет учесть эти два регистра — надземную часть колодца и его дно.

При всем этом вполне очевидно, что зона этой динамичной жизни, каковой является рыночная экономика, в период с XV по XVIII век непрерывно расширялась. Признаком, который указывает на этот факт и

подчеркивает его, является цепная реакция изменения рыночных цен, преодолевающая любые пространства. Цены приходят в движение во всем мире: в Европе, согласно бесчисленным свидетельствам наблюдателей, но также в Японии и Китае, в Индии, во всем исламском мире (в частности, в Османской империи), в Америке — в тех ее частях, где рано начинают играть свою роль драгоценные металлы, т.е. в Новой Испании, Бразилии, Перу. И повсюду наблюдается относительное соответствие цен, выравнивание которых происходит с более или менее ощутимыми сдвигами во времени. Эти сдвиги едва заметны в Европе, где экономика различных стран тесно связана между собой, однако в Индии конца XV — начала XVI века такие разрывы достигают двадцати и более лет по отношению к Европе.

Короче, так или иначе, *определенная* экономика уже связывает различные рынки мира, эта экономика вовлекает в свои потоки лишь отдельные редкие товары, а также драгоценные металлы и привилегированных путешественников, уже совершавших кругосветные путешествия. Испанские *восьмерные монеты*, чеканившиеся из американского “белого металла”, через Средиземное море, Османскую империю и Персию достигали Индии и Китая. С 1572 года американский “белый металл” пересекает и Тихий океан, и на этот раз новым путем, через Манилу, также попадает в

Китай.

Как же этим связям, этим цепочкам, этим потокам, этим главным маршрутам не привлечь внимания историков? Эти зрелища завораживают историков так же, как они завораживали современников. Даже первые экономисты, — что, вы думаете, они в *действительности* изучают, если не спрос и предложение на рынке? На что же направлена жесткая экономическая политика городов, если не на контроль за городскими рынками, их снабжением, их ценами? И любой монарх, едва в его актах начинает просматриваться некая экономическая политика, о чем он заботится? — не о национальном ли рынке, не о торговом ли флоте страны, нуждающемся в защите, не о национальной ли промышленности, которую необходимо поддерживать на внутреннем и внешнем рынке? Именно в этой узкой и чувствительной зоне рынка оказывается возможным и логичным — действовать. Она чутко реагирует, как свидетельствует ежедневная практика, на предпринятые шаги. В результате сложилось устойчивое мнение — справедливое или не вполне, — что обмен сам по себе играет решающую, уравнивающую роль, что с помощью конкуренции он сглаживает неровности, согласует предложение и спрос, что рынок — это скрытое и благосклонное божество, “невидимая рука” Адама Смита, саморегулирующаяся система, какой представлялся рынок в XIX веке, основа эконо-

мики, если придерживаться выдвинутого тогда лозунга о полной свободе торговли ("*laissez faire, laissez passer*").

Эти представления отчасти истинны, отчасти недобросовестны, отчасти иллюзорны. Разве можно забыть, как часто рынок искажался, фальсифицировался, как фактические или официальные монополии произвольно устанавливали цены? И особенно важно, признавая позитивную роль конкуренции, создаваемой рынком ("первая вычислительная машина на службе человека"), отметить, что рынок представляет собой лишь несовершенную связь между производством и потреблением, — несовершенную хотя бы в силу того, что она является *неполной*. Подчеркнем последнее слово — *неполная*. В самом деле, я верю в достоинства и важное значение рыночной экономики, но я не верю в ее полное господство. Между тем, до сравнительно недавнего времени экономисты рассуждали лишь в рамках ее схем и руководствуясь ее уроками. Для Тюрго в обращении и заключалась ни много ни мало вся экономическая жизнь. Значительно позднее Давид Рикардо также замечает лишь узкую, хотя и бурную реку рыночной экономики. И если в течение последнего полувека экономисты, наученные опытом, уже не ратуют за автоматические выгоды экономического либерализма (*laissez faire*), то этот миф пока еще не выветрился из общественного сознания и еще

витают над политическими дискуссиями сегодняшнего дня.

II

В конечном счете, если я употребил слово “*капитализм*” в дискуссии об эпохе, в которой, как по-прежнему считается, у него нет “права гражданства”, то это потому, что мне нужен был термин, отличный от термина “*рыночная экономика*”, для обозначения явно другой деятельности. В мои намерения, разумеется, не входило “впустить волка в овчарню”. Я прекрасно знал (ведь столько историков уже говорили — и со знанием дела), что этот боевой клич двусмыслен, дьявольски наполнен современностью, а потенциально — и анахроничен. И если, пренебрегая осторожностью, я распахнул перед ним дверь, у меня на это были многие причины.

Прежде всего, некоторые процессы, протекавшие между XV и XVIII веком нуждаются в особом названии. Присмотревшись к ним, убеждаешься, что простое отнесение их к рыночной экономике в обычном понимании граничит с абсурдом. Слово же, которое при этом само приходит на ум — это *капитализм*. В

раздражении вы гоните его в дверь — оно тут же возвращается в окно. Ибо вы не находите для него адекватной замены — и это симптоматично. Как сказал один американский экономист, лучшим доводом за использование слова *капитализм*, как бы его не порочили, является тот факт, что не найдено ничего другого, чтобы его заменить. Конечно, этот термин обладает существенным недостатком: за ним тянется целый шлейф споров и ссор. Однако эти ссоры — хорошие, менее хорошие и вовсе вздорные — не могут быть, по правде говоря, проигнорированы; нельзя действовать и вести обсуждение так, как если бы их не существовало. Есть и еще более серьезный недостаток: это слово наполнено смыслом, который придает ему современная жизнь.

Ибо слово *капитализм* входит в широкое употребление в самом начале XX века. Я склонен усматривать, с некоторой долей произвола, разумеется, что его реальное вхождение в современный язык связано с появлением в 1902 году широко известной книги Вернера Зомбарта “*Современный капитализм*” (“*Der moderne Kapitalismus*”). Маркс этого слова практически не употреблял. И вот нам напрямую грозит обвинение в худшем из грехов — анахронизме. “Никакого капитализма до промышленной революции не было, — воскликнул однажды один еще молодой историк, — капитал — да, но капитализм — нет!”

Между тем никогда даже далекое прошлое не отделено от современности непреодолимой пропастью, между ними не может не быть определенной преемственности или, если угодно, контаминации. Опыт прошлого постоянно находит свое продолжение в настоящем и наполняет его. Вот и многие историки, причем не из последних, замечают ныне, что признаки промышленной революции появляются задолго до XVII века. Возможно, лучшим доказательством, чтобы в этом убедиться, будет картина, наблюдаемая в некоторых современных развивающихся странах, которые, имея, так сказать, успешный пример для подражания перед глазами, предпринимают неудачные попытки провести у себя промышленную революцию. Короче, похоже, что эта нескончаемая и постоянно вызывающая споры диалектика прошлого-настоящего, настоящего-прошлого просто является средоточием и смыслом существования истории.

III

Вам так и не удастся призвать к порядку и определить слово *капитализм* так, чтобы оно служило исключительно целям исторического объяснения, если вы

не поместите его в рамку, очерченную двумя словами, которые поддерживают его и придают ему его смысл: это слова *капитал* и *капиталист*. *Капитал* — это осязаемая реальность, совокупность легко идентифицируемых средств, постоянно находящихся в работе; *капиталист* — это человек, который управляет или пытается управлять включением капитала в непрерывный процесс производства, на поддержание которого обречены любые общества; *капитализм* — это в общих чертах — но только в общих — тот способ, которым проводится — обычно в не самых альтруистических целях — бесконечная игра такого включения.

Ключевым словом является *капитал*. В работах экономистов оно приобрело ярко выраженное значение “*капитальные богатства*”. Оно не означает, таким образом, только накопленную сумму денег, но и могущие быть использованными и используемые — результаты любого прошлого труда: капитал — это дом, собранное зерно, корабль, дорога. Однако капитальные богатства оправдывают свое имя лишь в том случае, если они участвуют в возобновляемом процессе производства: деньги, составляющие неиспользуемое сокровище, не являются капиталом, не будет им и неиспользуемый лес и т.д. Приняв это к сведению, задашься вопросом: известно ли нам хотя бы какое-нибудь одно человеческое общество, которое не накапливало бы капитальных благ, которое не использовало

бы их регулярно в своей трудовой деятельности, и которое в ходе этой деятельности не восстанавливало бы их, не заставляло бы их приносить доход? Самая бедная деревня XV века на Западе имела дороги, поля очищенные от камней, окультуренные земли, ухоженные леса, живые изгороди, сады, водяные мельницы, запасы семян... Расчеты, произведенные для экономик Старого Порядка, показывают, что соотношение между совокупным продуктом года работы и суммой капитальных богатств — тем, что по-французски принято называть достоянием (*patrimoine*) — составляло 1 к 3 или 4, т.е., в сущности, было тем же, что Кейнс допускал применительно к современным экономикам. Таким образом, каждое общество, вероятно, имеет в качестве резерва эквивалент трех или четырех годовых доходов, который оно использует для успешного ведения производства; впрочем, это достояние лишь частично привлекается для этих целей, никогда на все 100 процентов.

Оставим, однако, эти проблемы. Вам они известны не хуже, чем мне. Я должен вам, в сущности, объяснить лишь одну вещь: каким образом я могу провести значимое различие между *капитализмом* и *рыночной экономикой*? Между *рыночной экономикой* и *капитализмом*?

Конечно же, вы не ждете от меня абсолютного противопоставления — вот, мол, внизу вода, над ней

— масло. Экономическая реальность не состоит из простых веществ. Однако, вам нетрудно будет принять допущение, что возможны, по меньшей мере, две формы рыночной экономики (А и В), отличимые друг от друга хотя бы из-за различий в устанавливаемых ими человеческих, экономических и общественных отношениях.

К первой категории (А) я бы отнес повседневный рыночный обмен, местную торговлю или обмен на небольшие расстояния — поставки хлеба или леса в ближайший город — и даже торговлю в несколько более широком радиусе, если она носит регулярный, предсказуемый, рутинный характер и открыта как для крупных, так и для мелких торговцев.

Таковы поставки зерна из Прибалтики через Данциг в Амстердам в XVII веке, поставки растительного масла и вина из Южной Европы в Северную — представьте караваны немецких повозок, отправляющиеся каждый год за белым вином в Истрию.

Хорошим примером таких обменов, не таящих никаких сюрпризов, где все как на ладони, где всякому заранее известна подноготная любой сделки и можно всегда прикинуть будущую прибыль, может служить рынок небольшого городка — местечка. На нем встречаются, главным образом, производители — крестьяне, крестьянки, ремесленники и покупатели — либо из самого местечка, либо из близлежащих деревень.

Изредка появляются самое большее два-три торговца, т.е. посредника между производителем и потребителем. Такой торговец может при случае нарушить жизнь рынка, подчинить его, повлиять на цены, маневрируя запасами товара: может случиться, что мелкий перекупщик, в нарушение установленного порядка, перехватит крестьян у входа в местечко, купит их продукцию по сниженной цене, а затем сам станет продавать ее покупателям — это простейший вид махинаций, распространенный вокруг любого местечка и тем более города, способный при известном распространении вызвать повышение цен. Таким образом, даже в воображаемом идеальном местечке с его упорядоченной, законной торговлей “в открытую”, “из рук в руки, глаза в глаза”, согласно известному немецкому выражению, не будет полностью исключен обмен по модели *B*, стремящийся ускользнуть от гласности и контроля. В свою очередь, регулярная торговля, в которой участвуют крупные караваны судов, груженных зерном, является гласной торговлей: кривая цен при отплытии из Данцига и по прибытии в Амстердам синхронны, а уровень прибыли скромнен, но надежно обеспечен. Но если, к примеру, около 1590 года Средиземноморье поразит голод, то международные торговцы, представители крупных клиентов, тотчас заставят корабли свернуть с привычного курса, и их груз, попав в Ливорно или Геную, в три-четыре раза поднимется в

цене. Здесь также экономика *A* может уступить позиции экономике *B*.

Как только начинаем движение вверх по ступеням иерархии обменов, сразу обнаруживается господство второго типа экономики, рисующего перед нами уже иную “сферу обращения”. Английские историки отмечают, что начиная с XV века наряду с традиционным общественным рынком (*public market*), возникает и приобретает все большее значение другой рынок, который они называли частным рынком (*private market*), а я назову, чтобы подчеркнуть его отличие от первого, *противорынком*. Действительно, не пытается ли он избавиться от правил традиционного рынка, нередко чересчур сковывающих? Передвижные торговцы, сборщики, скупщики товаров направляются непосредственно к производителю. Они покупают непосредственно у крестьян шерсть, коноплю, живой скот, кожи, рожь или пшеницу, птицу и т.д. Иногда они даже скупают эти продукты заранее — шерсть до стрижки овец, пшеницу на корню. Простая расписка, данная в деревенской корчме или на самой ферме, служит купчей. Затем они доставят свои покупки на телегах, вьючных животных или лодках в большие города или внешние порты. Подобная практика встречается вокруг Парижа и Лондона, в Сеговии так скупается шерсть, вокруг Неаполя — зерно, в Апулии — растительное масло, на Малайском архипелаге — перец...

Если передвижной торговец не приезжает в само крестьянское хозяйство, то встреча назначается на подступах к рынку, недалеко от рыночной площади или чаще всего на постоялом дворе. Постоялые дворы служат также перевалочными пунктами, они же обеспечивают транспорт. О том, что этот вид обмена влечет замену условий коллективного рынка системой индивидуальных сделок, сроки которых произвольно меняются в зависимости от положения каждого из участников, недвусмысленно свидетельствуют многочисленные процессы, возбуждаемые в Англии по поводу расписок, выданных продавцами. Очевидно, что речь идет здесь о неэквивалентных обменах, в которых конкуренция, являющаяся основным законом так называемой рыночной экономики, не занимает подобающего места, и где торговец обладает двумя преимуществами: он разрывает прямую связь между производителем и конечным потребителем продукции (только ему известны условия сделок на обоих концах промежуточной цепи, а следовательно, и ожидаемая прибыль), а кроме того у него есть наличные деньги, и это его главный аргумент. Таким образом, между производством и потреблением возникают длинные торговые цепочки, они утверждаются благодаря своей несомненной эффективности, в частности, в снабжении больших городов, и именно их эффективность заставляет власти закрывать глаза на нарушения или, во

всяком случае, ослаблять контроль.

Между тем, чем длиннее становятся эти цепочки и чем меньше они соответствуют существующим регламентациям и подчиняются обычным формам контроля, тем отчетливее обозначается процесс капитализма. Исключительно ярко он проявляется в торговле на дальние расстояния (*Fernhandel*), в которой отнюдь не только немецкие историки усматривают высшую степень обмена. Торговля на дальние расстояния преимущественно является областью свободного маневра, она действует на расстояниях, которые не дают осуществлять над ней обычный контроль, или позволяют ослабить его; она, если нужно, ведется между Коромандельским или Бенгальским побережьем и Амстердамом, между Амстердамом и таким-то торговым домом в Персии, Китае или Японии. В этой обширной зоне действий у нее есть возможность выбора, и она делает свой выбор, доводя до возможного максимума прибыль. Если вдруг размер прибыли от торговли с Антильскими островами уменьшается до скромных пределов, ничего страшного — в тот же момент торговля с Индией или Китаем обеспечит двойные барыши. Достаточно, так сказать, приложить приклад к другому плечу.

Из этих крупных прибылей складываются значительные накопления капиталов, тем более, что доходы от торговли на дальние расстояния делятся между все-

го несколькими партнерами. Не всякому дано войти в их круг. Напротив, местная торговля расплывлена между множеством участников. В XVI веке, к примеру, внутренняя торговля Португалии по своему объему и в предполагаемом стоимостном выражении намного превосходит торговлю перцем, пряностями и редкими снадобьями. Но эта обширная внутренняя торговля зачастую ориентирована на натуральный обмен и *потребительскую стоимость*. Торговля же пряностями находится в русле монетарной экономики. Этой торговлей занимаются лишь крупные негоцианты, сосредоточивая в своих руках невиданно большие прибыли. Те же соображения будут справедливы и для Англии времен Д.Дефо.

Неслучайно во всех странах мира из массы торговцев отчетливо выделяется группа крупных негоциантов, с одной стороны, весьма немногочисленная, а с другой — по-прежнему связанная, помимо прочих видов деятельности, с торговлей на дальние расстояния. Это явление становится заметным в Германии с XIV века, в Париже — уже с XIII, а в итальянских городах даже с XII, а может быть и ранее. В странах Ислама *таджир* до появления западных купцов сосредоточивает в своих руках импорт и экспорт и руководит из своего торгового дома (т.е. уже постоянной резиденции) деятельностью торговых агентов и представителей. У него нет ничего общего с *ханути*, лавочником

на базаре. Находясь в Индии, в Агре, бывшей огромным городом еще в 1640 году, один путешественник записывает, что словом “*согадор*” здесь называют “того, кого мы у себя в Испании называли бы торговцем (*mercader*), однако иные украшают свое имя особым званием “*катари*”, высшим титулом среди тех, кто занимается в этих землях торговым промыслом, и означающим: *богатейший негоциант с безупречной репутацией*”. Словарь, употребляемый на Западе, отражает сходные различия. “Негоциант” (это слово появляется в XVII веке) — это французский “*катари*”. В Италии огромная дистанция разделяет розничного торговца (*mercante a taglio*) и негоцианта (*negoziante*), подобно той, что существует в Англии между торговцем (*tradesman*) и купцом (*merchant*), который в английских портах занимается прежде всего экспортом и торговлей на дальние расстояния, или в Германии между лавочником (*Krämer*) с одной стороны, и купцом (*Kaufmann* или *Kaufherr*) с другой.

Нужно ли говорить, что эти капиталисты на мусульманском Востоке или в христианском мире были друзьями государя, поддерживая или эксплуатируя государство? Очень рано, еще в незапамятные времена, они перешагнули национальные границы, действуя заодно с чужестранными купцами. В их распоряжении тысяча способов обратить игру в свою пользу — манипуляциями с кредитом, ставкой на хорошую монету

против плохой, при этом хорошая — золотая и серебряная — монета участвовала в крупных сделках и шла к Капиталу, в то время как плохая использовалась для выплаты заработной платы работникам и мелких каждодневных расходов, т.е. уходила к Труду. Среди преимуществ капиталистов — информация, ум, культура. И они присваивают все, что в радиусе досягаемости оказывается достойным внимания — землю, недвижимость, ренты... Если бы они обладали монополией или просто достаточной властью, чтобы в девяти случаях из десяти устранить конкурента, разве можно сомневаться, что именно так бы они и поступили? Один голландский купец в письме своему собрату из Бордо советовал ему держать их общие планы в тайне, иначе, писал он, “с этим делом произойдет то же, что и с многими другими, когда, как только появляется конкуренция, уже не найдешь и воды напиться!” Наконец, именно благодаря весу своих капиталов капиталистам удастся сохранять свои привилегии, удерживать в своих руках крупные международные торговые дела той эпохи. С одной стороны, это происходит потому, что из-за медленной скорости транспортных сообщений тех лет крупной торговле для оборота капиталов требуются значительные сроки: необходимы месяцы, а иногда и годы, прежде чем вложенные суммы вернутся с соответствующей прибылью. С другой стороны, обычно крупный купец использует не только

свой личный капитал, но и прибегает к кредиту, т.е. к деньгам других людей. Наконец, происходит перемещение капиталов. Уже в конце XIV века архивы Франческо ди Марко Датини, купца из Прато, близ Флоренции, свидетельствуют о движении векселей между итальянскими городами и горячими точками европейского капитализма — Барселоной, Монпелье, Авиньоном, Парижем, Лондоном, Брюгге — но все это дела столь же чуждые для простых смертных, как сегодня, скажем, сверхсекретные переговоры в Банке международных расчетов в Базеле.

Таким образом, мир торговли и обмена оказывается организованным в виде жесткой иерархии, выстраивающей в соответствующем порядке всех ее участников — от самых скромных: грузчиков, докеров, разносчиков, возчиков, матросов, — до кассиров, лавочников, маклеров всех разновидностей и названий, ростовщиков и, наконец, негоциантов. Удивительная, на первый взгляд, вещь — разделение труда, быстро возрастающее по мере развития рыночной экономики, затрагивает все это торговое сообщество за исключением его верхушки — негоциантов. Вначале это дробление функций проявилось лишь на нижнем уровне: произошла специализация ремесленников, лавочников, торговцев вразнос. Однако она не затронула вершины пирамиды, поскольку вплоть до XIX века купец высокого полета никогда не ограничивался каким-либо од-

ним родом деятельности; он, разумеется, купец, но он никогда не связан одним направлением: в зависимости от обстоятельств он — судовладелец, хозяин страховой конторы, заимодавец или получатель ссуды, финансист, банкир или даже промышленник или аграрий. В Барселоне XVIII века лавочник, торгующий в розницу (*botiguer*), обязательно специализируется: он продает либо полотно, либо сукно, либо пряности... Стоит ему, однако, достаточно разбогатеть, чтобы стать негоциантом, как он тут же отказывается от специализации: любое доступное ему выгодное дело будет относиться к его компетенции.

Эта аномалия часто привлекала внимание, однако те объяснения, которые обычно предлагались, не могут нас удовлетворить — купец-де распределяет свою деятельность между несколькими секторами, чтобы уменьшить риск: если он потеряет на кошенили, то выиграет на пряностях; если он упустит торговую сделку, то наживается на обмене денег или на ссуде крестьянину, которая вернется в виде ренты... Короче, он, якобы, действует согласно французской поговорке о том, что “не следует класть все яйца в одну корзину”.

В действительности же, как я полагаю:

— купец не специализируется потому, что ни одна из доступных ему отраслей не является достаточно емкой, чтобы поглотить всю его энергию. Слишком часто

думают, что капитализм прошлого был мелким за недостатком капитала, который ему пришлось долгое время накапливать, чтобы вступить в эпоху расцвета. Между тем, переписка купцов и записи торговых палат довольно часто свидетельствуют о том, как порой тщетно капиталы ищут возможностей вложения. И вот уже капиталист склонен приобретать землю, являющуюся прибежищем для капитала и одновременно — социальной ценностью, но иногда и объектом современной эксплуатации, и источником существенного дохода, — так происходит в Англии, Венеции и других местах. Или же его соблазняют спекуляции городской недвижимостью. Он может также предпринять ряд пробных, но повторяющихся шагов в области промышленного производства, например, в горнорудном деле (XV-XVI века). Однако, — и это показательно — за редким исключением его не интересует система промышленного производства, он довольствуется системой надомного труда (*putting out*), контролем над ремесленным производством — с целью наилучшей организации торговли его продуктами. По сравнению с ремесленниками и с системой надомничества, мануфактуры вплоть до XIX века будут составлять лишь малую часть всего производства;

— если крупный негоциант так часто меняет сферу деятельности, это значит, что возможность получения большой прибыли постоянно перемещается из од-

ного сектора в другой. Капитализм по своей сути конъюнктурен. Доныне одним из важнейших его преимуществ является та легкость, с какой он перестраивается и приспосабливается к обстоятельствам;

— в коммерческой жизни иногда проявлялась тенденция к сосредоточению на единственном виде спекуляции — торговле деньгами. Однако ее успех никогда не был долговременным, как будто здание экономики было неспособно обеспечить достаточное питание этой экономической вершины. Флорентийские банки после короткого периода расцвета терпят крах с падением Барди и Перуцци в XIV веке, а затем Медичи в XV. С 1579 года генуэзские ярмарки в Пьяченце обеспечивали *клиринг* почти для всех европейских расчетов, однако удивительное начинание генуэзских купцов продлится менее полувека, до 1621 года. В XVII веке Амстердам будет, в свою очередь, блистательно господствовать над потоками европейских кредитов, однако в следующем веке и этот опыт потерпит крах. Финансовый капитализм добьется успеха лишь в XIX веке, после 1830-1860 гг., когда банк подчинит себе всю промышленность и торговлю, и когда экономика в целом обретет силу достаточную, чтобы надежно поддерживать эту конструкцию.

Подведем итог. Налицо два типа обмена: первый — приземленный, подчиненный конкурентной борьбе, поскольку гласный, второй — высшего порядка, край-

не сложный, стремящийся к господству. Ими управляют совершенно разные механизмы и разные люди, и лишь ко второму, но не к первому, относится сфера капитализма. Я не отрицаю возможность хитрого и жестокого капитализма в грубых деревенских башмаках. По словам профессора Далина из Москвы, Ленин даже утверждал, что если в социалистической стране дать свободу сельскому рынку, то это приведет к возрождению всего древа капитализма. Я также не отрицаю существования микрокапитализма лавочников — Гершенкрон утверждает, что именно оттуда вышел истинный капитализм. Соотношение сил, основанное на капитализме, может обозначиться и проявиться на любом из этажей общественной жизни. Однако, именно на вершине общества капитализм впервые разворачивается на полную мощь, утверждает свою силу, становится зримым. Искать его следует на высоте таких фигур как Барди, Жак Кёр, Якоб Фуггер, Джон Лоу, Неккер, — именно там есть все шансы его найти.

Капитализм и рыночную экономику обычно не различают потому, что они развивались одновременно — со Средних веков до наших дней, а также потому, что капитализм часто представляли как двигатель или вершину экономического прогресса. В действительности, все несет на своей широкой спине материальная жизнь: если она набирает силу, то все движется вперед; вслед за ней, в свою очередь, быстро усиливается

рыночная экономика, расширяя свои связи. Однако от этого роста всегда выигрывает капитализм. Я не думаю, что Иозеф Шумпетер был прав, когда представлял предпринимателя неким *deus ex machina**. Я упорно продолжаю считать, что решающим является общее движение, и что любой капитализм соответствует прежде всего той экономике, на которую он опирается.

IV

Будучи привилегией немногих, капитализм немислим без активного пособничества общества. Он необходимо является реальностью социального и политического порядка и даже элементом цивилизации. Ибо необходимо, чтобы в известном роде все общество более или менее сознательно приняло его ценности. Однако, так случается не всегда.

В структуре любого общества выделяются несколько “множеств”: экономическое, политическое, культурное, социально-иерархическое. Экономическое “множество” может быть понято лишь в связи с други-

* Бог из машины (лат.)

ми “множествами”: растворяясь в них, оно открывает им свои двери. Происходит постоянное действие и взаимодействие. Капитализм, являющийся особой и частной формой экономического “множества”, может получить свое полное объяснение лишь в свете соседства и взаимопроникновения с другими “множествами”, лишь таким образом он обретает свое подлинное лицо.

Так, современное государство, которое не произвело, а лишь унаследовало капитализм, то поощряет его, то препятствует ему, то дает действовать, то стремится сломать его механизм. Капитализм торжествует лишь тогда, когда идентифицирует себя с государством, когда сам становится государством. Во время первой большой фазы его развития в городах-государствах Италии — Венеции, Генуе, Флоренции — власть принадлежала денежной элите. В Голландии XVII века регенты-аристократы управляли страной в интересах и даже по прямым указаниям дельцов, негоциантов и крупных финансистов. В Англии после революции 1688 года власть оказалась в ситуации, подобной голландской. Франция запаздывала более чем на век: только после июльской революции 1830 года буржуазия, наконец, надежно берет власть в свои руки.

Таким образом, государство проявляет благосклонность или враждебность к миру денег в зависимости от его собственного равновесия и его собственной силы сопротивления. Аналогичны отношения с культурой и

религией. В принципе, религия, являющаяся традиционной силой, говорит “нет” нововведениям рынка, денег, спекуляций, ростовщичества. Но возможны компромиссы и с Церковью. Твердя “нет”, она, в конце концов, отвечает “да” настоятельным требованиям времени. Коротко говоря, она идет на *aggiornamento* — приспособление к современности, вчера сказали бы, на обновление. Огюстен Реноде отмечал, что первую — и удачную — попытку обновления предпринял еще Св.Фома Аквинский (1225-1274). Однако, хотя Церковь и, следовательно, культура достаточно рано сняли свои ограничения, со стороны первой все же сохранилась сильная принципиальная оппозиция, в частности, займам под процент, осуждаемым как ростовщичество. Утверждалось даже с некоторой, правда, поспешностью, что эта щепетильность была устранена только Реформацией, и что в этом состоит скрытая причина расцвета капитализма в странах Северной Европы. С точки зрения Макса Вебера, капитализм в современном смысле этого слова является не больше и не меньше как порождением протестантизма или, точнее, пуританства.

Все историки выступают против этого остроумного положения, хотя им и не удастся от него избавиться раз и навсегда: оно снова и снова возникает перед ними. А между тем, это явно неверное положение. К северным странам лишь перешло то место, которое до

них долгое время блистательно занимали старые центры средиземноморского капитализма. Они ничего не изобрели ни в технике, ни в ведении дел. Амстердам копирует Венецию, как Лондон вскоре будет копировать Амстердам, и как затем Нью-Йорк будет копировать Лондон. Каждый раз при этом сказывается смещение центра тяжести мировой экономики, происходящее по *экономическим* причинам, не затрагивающим собственную и тайную природу капитализма. Это окончательное перемещение центра в самом конце XVI века из Средиземноморья к северным морям означает победу новых стран над старыми. Оно означает также важное изменение масштабов. Благодаря новому возвышению Атлантики происходит расширение экономики в целом, обменов, денежных запасов; и в этом случае так же быстро развивающаяся рыночная экономика, выполняя решения, принятые в Амстердаме, понесет на своей спине выросшее строение капитализма. В конечном счете, мне представляется, что ошибка Макса Вебера коренится в первоначальном преувеличении роли капитализма как двигателя современного мира.

Однако основная проблема состоит в другом. Подлинная судьба капитализма была в действительности разыграна в сфере социальных иерархий.

В каждом развитом обществе имеется несколько иерархий, несколько своего рода лестниц, позволяю-

щих подняться с первого этажа, где прозябает основная масса народа — *Grundvolk*, по выражению Вернера Зомбарта: религиозная иерархия, иерархия политическая, военная, различные денежные иерархии. Между теми и другими, в зависимости от времени и места, наблюдаются противостояния, компромиссы или союзы, иногда даже слияние. В XIII веке в Риме религиозная и политическая иерархии сливаются, но вокруг города возникает опасный класс владетельных сеньоров, которым принадлежат обширные земли и неисчислимые стада, — и это в то время как банкиры Кюри — выходцы из Сиены — начинают занимать высокое положение в местной иерархии. Во Флоренции конца XIV века старинная феодальная знать полностью сливается с новой крупной торговой буржуазией, образуя денежную элиту, к которой по логике вещей переходит и политическая власть. В других социальных условиях, напротив, политическая иерархия может подавлять все остальные, как это происходит, к примеру, в Китае при династии Мин и Манчжурской династии. Та же тенденция, хотя и менее отчетливо и последовательно, проявляется и в монархической Франции при Старом Режиме, который долгое время держит купцов, даже богатых, на третьестепенных ролях и выводит на передний план главную — дворянскую — иерархию. Во Франции времен Людовика XIII путь к могуществу лежит через близость к королю и

двору. Первым шагом подлинной карьеры Ришелье, обладавшего скромным саном епископа Люсонского, было место духовника вдовствующей королевы Марии Медичи, благодаря которому он приблизился ко двору и вошел в узкий круг правителей Франции.

В каждом обществе свои пути удовлетворения личного честолюбия людей, свои типы преуспевания. Хотя на Западе и нередко преуспевают отдельные личности, история постоянно твердит один и тот же урок: личный успех почти всегда следует относить на счет семей, бдительно, настойчиво и постепенно увеличивающих свое состояние и свое влияние. Их честолюбие уживается с терпением и растягивается на долгий период времени. Тогда, значит, надо воспевать достоинства и заслуги старинных семей, древних родов? Применительно к Западу, это будет означать то, что позже стали называть общим термином “история буржуазии”, являющейся носительницей капиталистического процесса, создающей или использующей ту жесткую иерархию, которая станет становым хребтом капитализма. Последний, действительно, в поисках приложения своего богатства и могущества поочередно или одновременно опирается на коммерцию, ростовщичество, торговлю на дальние расстояния, государственную службу и землевладение: земля всегда была надежной ценностью и к тому же в большей степени, чем обычно полагают, придавала владельцу очевид-

ный престиж в обществе. Если внимательно присмотреться к жизни этих длинных семейных цепочек, к медленному накоплению состояний и престижа, становится почти в целом понятным переход от феодального строя к капиталистическому, произошедший в Европе. Феодальный строй являлся устойчивой формой раздела в пользу помещичьих семей земельной собственности — этого фундаментального богатства, — и имел устойчивую структуру. “Буржуазия” в течение веков паразитировала на этом привилегированном классе, жила при нем, обращая себе на пользу его ошибки, его роскошь, его праздность, его непредусмотрительность, стремясь — часто с помощью ростовщичества — присвоить себе его богатства, проникая в конце концов в его ряды и тогда сливаясь с ним.

Но в этом случае на приступ поднималась новая буржуазия, которая продолжала ту же борьбу. Это паразитирование длилось очень долго, буржуазия неотступно разрушала господствующий класс, пожирая его. Однако ее возвышение было долгим, исполненным терпения, постоянно откладываемым на век детей и внуков. И так, казалось, без конца.

Общество такого типа, вышедшее из феодального и само еще сохранившее наполовину феодальный характер, является обществом, в котором собственность и общественные привилегии находятся в относительной безопасности, в котором семейные кланы могут ими

пользоваться относительно спокойно, а собственность является священной или, во всяком случае, претендует на такой статус, где каждый остается на своем месте. Наличие таких спокойных или относительно спокойных социальных “вод” необходимо для накопления богатства, для роста и сохранения семейных кланов, для того, чтобы с помощью монетарной экономики, наконец, всплыл на поверхность капитализм. При этом он разрушает некоторые бастионы высшего общества, но лишь с тем, чтобы возвести для себя новые, такие же прочные и долговечные.

Столь длительное вынашивание семейных состояний, приводящее в один прекрасный день к ослепительному успеху, для нас так привычно и в прошлом, и в настоящем, что нам трудно отдать себе отчет в том, что оно представляет собой одну из существенных особенностей Западного Общества. Мы замечаем ее, лишь отведя взор от Европы и наблюдая совершенно иное зрелище, которое представляют для нас неевропейские общества. В этих обществах то, что мы называем или можем назвать капитализмом, обычно наталкивается на социальные препятствия, которые трудно или невозможно преодолеть. И именно контраст, создаваемый этими препятствиями, подсказывает нам правильные объяснения.

Оставим в стороне японское общество, процессы в котором в целом сходны с европейскими: то же мед-

ленное разрушение феодального общества, из которого в конце концов выходит наружу общество капиталистическое. Япония — это страна самых старых торговых династий: некоторые из них, возникнув в XVII веке, процветают по сей день. Однако западное и японское общества являются единственным в сравнительной истории примером того, как общество чуть ли не само собой перешло от феодального строя к капиталистическому. В других странах взаимоотношения между государством, социальными привилегиями и привилегиями денежными весьма различны, и мы попытаемся из этих различий извлечь всю возможную информацию.

Возьмем Китай и страны Ислама. Имеющаяся статистика, хотя и несовершенная, свидетельствует о том, что в Китае социальная мобильность по вертикали была выше, чем в Европе. Не то, чтобы число лиц, обладающих привилегиями, было относительно большим — китайское общество в целом было менее стабильным. Той дверью, которая делала социальную иерархию открытой, служили конкурсы мандаринов. Хотя эти конкурсы и не проводились в обстановке абсолютной честности, они, в принципе, были доступны для всех социальных слоев, во всяком случае, значительно более доступны, чем знаменитые европейские университеты в XIX веке. Испытания, открывающие доступ к высокой должности мандарина, представляли

собой в действительности новую раздачу карт в социальной игре, постоянную передачу (*New Deal*). Однако те, кто достигал вершины, находились там лишь временно, в лучшем случае пожизненно, и состояния, которые они скапливали благодаря высокой должности, едва ли позволяли основать то, что в Европе называют крупной буржуазной династией (*grandes familles*). Более того, слишком богатые и слишком могущественные семьи находились из принципа на подозрении у государства, являвшегося единственным законным владельцем земли, обладавшего исключительным правом взимания налогов с крестьян и осуществлявшего плотный контроль за деятельностью горно-рудных, промышленных и торговых предприятий. Китайское государство, несмотря на сговор торговцев и коррумпированных мандаринов, было бесконечно враждебно расцвету капитализма, который даже если и развивался по воле обстоятельств, то всякий раз в конечном счете безжалостно ставился на место тоталитарным, в известном роде, государством (если не вкладывать в слово тоталитарный того уничижительного смысла, который оно приобрело в настоящее время). Настоящий китайский капитализм развивался лишь за пределами Китая, например, в странах Малайского архипелага, где китайский торговец пользовался полной свободой действий.

В обширном мусульманском мире, особенно до

XVII века, владение землей было временным, поскольку и там она по закону принадлежала монарху. Историк бы сказал, используя западноевропейскую терминологию времен Старого режима, что земля жаловалась в качестве бенефиция (т.е. в пожизненное владение), но не в качестве наследственного феода. Другими словами, сеньории, т.е. земли, деревни, земельные ренты распределялись государством, как это было когда-то при Каролингах, и возвращались государству всякий раз после смерти того, кому они были пожалованы. Для государя это было средством оплаты за услуги и привлечения на службу воинов и всадников. После смерти сеньора, сеньория и все его имущество возвращались к султану в Турции или к Великому Моголу в Индии. Можно сказать, что эти монархи, пока длилось их могущество, могли полностью заменять господствующий класс, меняя правящую элиту как рубашку, — и они без колебаний пользовались этой возможностью. Верхушка общества обновлялась, таким образом, очень часто, и семейные кланы не успевали укорениться... В недавнем исследовании каирского общества XVIII века показано, что крупным купцам удавалось удержать свои позиции лишь при жизни одного поколения. Затем их поглощало политическое общество. Если в Индии жизнь торговых семей была более прочна, то это потому, что она проходила вне рамок неустойчивой вершины общественной пира-

миды, в защитной среде каст торговцев и банкиров.

Учитывая сказанное, вы легче поймете выдвигаемое мною положение, довольно, впрочем, простое и правдоподобное: росту и успеху капитализма сопутствуют определенные общественные условия. Капитализм для своего развития требует определенной стабильности общественного устройства, а также определенного нейтралитета или слабости, или потворства государства. И даже на Западе встречаются различные степени такого попустительства: во многом в силу социальных и уходящих в прошлое причин, Франция всегда была страной менее благоприятной для капитализма, чем, скажем, Англия.

Я думаю, что такой взгляд на вещи не вызовет серьезных возражений. Напротив, сама собой возникает новая проблема. Капитализму необходима иерархия. Но что такое иерархия для историка, перед чьими глазами проходят сотни и сотни обществ, имеющих каждое свою иерархию? Каждая из которых с неизбежностью приводит в верхах общества к горстке привилегированных и ответственных лиц. Так было вчера, в Венеции XIII века, во всей Европе при Старом порядке, во Франции времен Тьера и во Франции 1936 года, когда лозунги демонстрантов разоблачали власть "двухсот семейств". Так же было в Японии, Китае, Турции, Индии. Так обстоит дело и сегодня: даже в Соединенных Штатах капитализм не изобретает, а

лишь использует иерархии, так же как он не изобрел ни рынка, ни потребления. В долгой исторической перспективе капитализм — это вечерний час, который приходит, когда все уже готово. Другими словами, проблема иерархии как таковая лежит за пределами капитализма, трансцендентна по отношению к нему, логически ему предшествует. И некапиталистические общества — увы! — также не устранили иерархий.

Все это открывает возможность для долгих дискуссий, которые я постарался представить в своей книге, не пытаясь поставить в них точку. Ибо это несомненно ключевая проблема, проблема проблем. Нужно ли разрушить иерархии, подчинение человека человеку. Да, — сказал Жан-Поль Сартр в 1968 году. Но возможно ли это в действительности?

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ВРЕМЯ МИРА

В двух предыдущих главах отдельные части голо-
воломки были мной представлены в изолированном
виде или в произвольных сочетаниях, служивших це-
лям объяснения. Теперь речь идет о воссоздании всей
картины в целом. Именно таковой была цель третьего
и последнего тома моего труда, озаглавленного “*Время
мира*”. Само это название поясняет суть моего замыс-
ла — связать капитализм, его развитие и средства, ко-
торыми он располагает, с мировой историей в целом.

История — это хронологическая последователь-
ность форм и опытов. *Весь мир* означает в XV-XVIII
веках то единство, которое постоянно вырисовывается
и проявляет свое влияние на жизнь всех людей, на все
общества, экономики и цивилизации мира. Между тем
утверждение этого мира происходит под знаком нера-
венства. Нынешняя картина, в которой противостоят,
с одной стороны, богатые страны, и с другой — слабо-

развитые, *mutatis mutandis** верна уже для периода с XV по XVIII век. Конечно, за время, истекшее между эпохой Жака Кёра и эпохами Жана Бодена, Адама Смита и, похоже, Кейнса, богатые и бедные страны не остались в точности теми же — колесо истории сделало свой оборот. Однако, законы, движущие миром, в целом не изменились, и он продолжает быть *структурно* разделенным на привилегированную и лишенную привилегий части. Существует своего рода мировое общество, столь же иерархизированное, что и обычное общество, и как бы являющееся его увеличенной, но узнаваемой копией. Микрокосм и макрокосм здесь имеют в конечном счете одинаковое устройство. Почему? Именно на этот вопрос я и попытаюсь ответить, хотя и не уверен, что это мне до конца удастся. Исторiku легче ответить на вопрос *как?* нежели *почему?*, и последствия великих проблем он видит отчетливее, чем их истоки. Впрочем, это еще один повод для того, чтобы с утроенной энергией устремиться на поиск этих истоков, которые так часто, подразнив исследователя, ускользают прочь.

* С необходимыми поправками (лат.)

Следует еще раз договориться о терминах. Действительно, нам придется использовать два выражения: *мировая экономика* и *мир-экономика*, причем второе понятие будет еще важнее, чем первое. Под мировой экономикой понимается экономика мира, взятого в целом, “рынок всего мира”, как говорил уже Сисмонди. Под выражением *мир-экономика*, которое я придумал, чтобы передать немецкий термин *Weltwirtschaft*, я понимаю экономику лишь некоторой части нашей планеты в той мере, в какой она образует экономически единое целое. Уже давно я писал, что Средиземное море в XVI веке само по себе представляло *Weltwirtschaft*, мир-экономику, — по-немецки можно также сказать “*ein Welt fur sich*” — мир для себя.

Мир-экономика может быть определен с помощью трех существенных признаков:

— Он занимает определенное географическое пространство; у него, стало быть, имеются объясняющие его границы, которые, хотя и довольно медленно, варьируют. Время от времени, через длительные промежутки, происходят неизбежные прорывы этих границ. Так случилось в результате Великих географических открытий конца XV века. То же произошло и в

1689 году, когда Россия, по воле Петра Великого, открыла свои пространства для европейской экономики. Представьте, что вдруг сегодня произойдет полное, решительное и окончательное превращение экономик Китая и СССР в открытые экономики — в этом случае окажутся прорваны границы западного экономического пространства в его сегодняшнем виде.

— Мир-экономика всегда имеет *полюс, центр*, представленный господствующим городом, в прошлом городом-государством, ныне — столицей, я хочу сказать — экономической столицей (в США — это будет Нью-Йорк, а не Вашингтон). Впрочем, в пределах одного и того же мира-экономики возможно одновременное существование — причем даже в течение довольно продолжительного времени — двух центров, например, Рим и Александрия эпохи Августа, Антония и Клеопатры, Венеция и Генуя времен войны за гавань Кьоджа (1378-1381), Лондон и Амстердам в XVIII веке до окончательного устранения господства Голландии, ибо один из двух центров всегда в конечном счете бывает устранен. Так, в 1929 году, после некоторых колебаний центр мира вполне определенно переместился из Лондона в Нью-Йорк.

— Любой мир-экономика состоит из ряда концентрически расположенных зон. Срединную зону образует область, расположенная вокруг центра — таковы Соединенные провинции (но не все Соединенные про-

винции) в XVII веке, когда над миром господствует Амстердам; такой зоной становится Англия (но не вся Англия), когда, начиная с 80-х годов XVIII века, Лондон окончательно занимает место Амстердама. Далее, вокруг срединной зоны располагаются промежуточные зоны. И, наконец, следует весьма обширная периферия, которая в разделении труда, характеризующем мир-экономику, оказывается не участницей, а подчиненной и зависимой территорией. В таких периферийных зонах жизнь людей напоминает Чистилище или даже Ад. Достаточным же условием для этого является просто их географическое положение.

Эта наспех набросанная картина, конечно, требует комментариев и объяснений. Вы их найдете в третьем томе моей работы, но вы можете получить о них точное представление, прочитав книгу Иммануэля Валлерстайна *“The Modern World-System”* (*“Современная мировая система”*), вышедшую в 1974 году в США и опубликованную во Франции под названием *“Система мира с XV века до наших дней”* (*“Le Système du monde du XVe siècle à nos jours”*) издательством Фламмарион. Не так уж важно, что я не согласен с автором по некоторым пунктам и даже по одной-двум магистральным линиям его концепции. В основном наши взгляды совпадают, даже если Иммануэль Валлерстайн полагает, что не существует никакого другого мира-экономики, кроме европейского, который возник

лишь в XVI веке, в то время как я считаю, что задолго до того, как европейцы узнали мир во всей его огромности, со Средних веков и даже с Античности, он был разделен на ряд более или менее централизованных и связанных экономических зон, т.е. на *несколько сосуществовавших* миров-экономик.

Эти сосуществующие экономики, связанные между собой крайне ограниченными обмeнами, делят между собой населенное пространство планеты, оставляя довольно обширные промежуточные зоны, преодоление которых, за редким исключением, не доставляет особых выгод торговле. До Петра Великого Россия представляла собой мир-экономику, живший своей жизнью и замкнутый в себе. Огромная Оттоманская империя до конца XVIII века также представляла собой один из таких миров-экономик. Напротив, империя Карда V или Филиппа II, несмотря на свои огромные размеры, не была отдельным миром-экономикой: с самого своего появления она оказалась включенной в широкую сеть древней и живучей экономики, образовавшейся на основе европейской. Ибо еще до 1492 года, до путешествия Христофора Колумба, Европа и Средиземноморье со своими щупальцами, протянувшимися в сторону Дальнего Востока, уже представляли собой мир-экономику с центром в славной Венеции. Этот мир расширится в результате Великих географических открытий, захватит Атлантику, острова и

побережье американского континента, медленно проникая в его глубь; он будет также наращивать связи с другими, пока еще самостоятельными мирами-экономиками — Индией, Малайским архипелагом, Китаем. В то же время в самой Европе произойдет смещение его центра тяжести с Юга на Север, в Антверпен, а затем — в Амстердам, а не — заметьте — в центры Испанской или Португальской империй — Севилью и Лиссабон.

Таким образом, можно положить на историческую карту прозрачную кальку, на которой карандаш грубо очертит миры-экономики, существующие в каждую эпоху. Поскольку эти экономики меняются крайне медленно, у нас есть достаточно времени, чтобы их изучать, наблюдать их жизнь, оценить их вес. Медленно деформируясь, они отражают глубинную историю мира. О ней мы лишь вскользь упомянем, поскольку наша задача состоит в том, чтобы показать, каким образом последовательный ряд миров-экономик, создававшихся на основе Европы и европейской экспансии, объясняют — или не объясняют — игры капитализма и его собственную экспансию.

Предвосхищая выводы этой главы, я охотно выскажу предварительное суждение о том, что эти типичные миры-экономики явились матрицами европейского, а затем и мирового капитализма. Во всяком случае, таково объяснение, к которому я буду продвигаться —

со всей подобающей осторожностью и неторопливостью.

II

Эту глубинную историю мы не открываем, а лишь освещаем. Люсьен Февр сказал бы: “Мы возвращаем ей ее достоинство”. И это уже много. Вы в этом убедитесь, когда я с настойчивостью буду говорить сначала об изменениях, о смещениях центра миров-экономик, а затем о делении любого мира-экономики на концентрические зоны.

Каждый раз при утрате прежнего центра происходит возвышение нового, как если бы мир-экономика не мог существовать без центра тяжести, без некоего полюса. Такие утраты старого и обретения нового центра происходят, однако, редко, что еще более подчеркивает значение этих событий. В случае Европы и примыкающих зон, которые она как бы аннексировала, возникновение единого центра произошло в 80-е годы XIV века, и таким центром стала Венеция. Около 1500 года произошел внезапный гигантский скачок, в результате которого центр переместился из Венеции в Антверпен, затем, в 1550-1560 годы, центр вернулся в

Средиземноморье, но на этот раз в Геную, наконец, в 1590-1610 — новое перемещение — в Амстердам, остававшийся устойчивым экономическим центром европейской зоны в течение почти двух веков. Лишь в период между 1780 и 1815 годами этот центр переместится в Лондон. В 1929 году, преодолев Атлантический океан, он оказывается в Нью-Йорке.

Таким образом, роковой час пятикратно бил на европейских часах, и каждый раз эти изменения центра сопровождались борьбой, столкновениями (интересов), острыми экономическими кризисами. Можно сказать, что обычно именно экономическая непогода наносит решающий удар по старому, уже ослабленному центру и утверждает возвышение нового. В этом, разумеется, нет математически выверенной закономерности: кризис, который стучится в двери, — это испытание, которое сильные выдерживают, а слабые — нет. Стало быть, центр не трескается от любого удара. Напротив, кризисы XVII века чаще всего служили к выгоде для Амстердама. В наши дни, вот уже несколько лет как мы переживаем мировой кризис, который обещает быть острым и продолжительным. Если Нью-Йорк не выдержит испытания — в эту возможность я, впрочем, совершенно не верю, — миру придется искать или создавать новый центр. Если же Соединенные Штаты сохранят свое место — а это нетрудно предвидеть, — то они могут выйти из этого испытания еще более

сильными, поскольку другие экономики, по-видимому, значительно больше пострадают от той неблагоприятной конъюнктуры, которую мы переживаем.

Как бы то ни было, похоже, что возникновение, исчезновение и смена центра обычно связаны с продолжительными общими кризисами экономики. Поэтому, конечно же, их роль необходимо учитывать вступая на нелегкий путь изучения макромеханизмов, ответственных за изменение общего хода истории. Рассмотрим поближе один небольшой пример — это избавит нас от необходимости пространных комментариев. В результате всякого рода превратностей и политических случайностей, в силу недостаточно прочного статуса Антверпена как центра мировой экономики, во второй половине XVI века пришло время реванша всего Средиземноморского региона. Вывозимый в больших количествах из рудников Америки белый металл, который прежде, благодаря испанскому господству, через Атлантический океан доставлялся во Фландрию, с 1568 года стал направляться в Европу через Средиземное море, и Генуя сделалась главным перевалочным пунктом в торговле серебром. В этот период Средиземное море пережило своего рода экономический Ренессанс, охвативший его от Гибралтара до левантийских морей. Однако этот “век генуэзцев”, как называли этот период, оказался недолгим. Ситуация ухудшилась, и ярмарки генуэзских купцов в Пья-

ченце, бывшие в течение почти полувека главным центром клиринговых сделок в Европе, утратили свою ведущую роль еще до 1621 года. Средиземное море снова оказалось отодвинутым на вторые роли — в полном соответствии с логикой ситуации, сложившейся после Великих географических открытий, — и этот статус останется за Средиземным морем на долгий последующий период.

Этот упадок Средиземноморья, наступивший спустя век после открытия Христофора Колумба, т.е. с огромным и вызывающим удивление опозданием, является одной из основных проблем, поднятых мной в уже давно вышедшей объемистой книге, посвященной Средиземноморью. Каким годом датировать этот спад? 1610? 1620? 1650? И, главное, на какой процесс возложить за него ответственность? На этот второй, наиболее важный, вопрос был дан, на мой взгляд, блестящий и точный ответ в статье Ричарда Тилдена Раппа, опубликованной в 1975 году в *“Журнале экономической истории”* (*“The Journal of Economic History”*, 1975). Отмечу с удовольствием, что это одна из лучших статей среди тех, что мне довелось прочесть за долгие годы. В ней доказывается, что, начиная с 70-х годов XVI века, мир Средиземноморья наводняли, теснили и грабили корабли и купцы северных стран, и что последние составили свой первоначальный капитал отнюдь не стараниями индийских компаний или

бороздя просторы Мирового океана. Они набросились на готовые богатства Средиземноморья и захватили их, не гнушаясь никакими средствами. Они наводнили Средиземноморье дешевыми товарами, зачастую недоброкачественными, однако искусно имитировавшими отменные ткани, производившиеся на Юге, украшая свои подделки всемирно известным венецианским клеймом, с тем чтобы продавать их под видом настоящих на рынках Венеции. В результате, средиземноморская промышленность теряла как своих клиентов, так и свою репутацию. Представьте себе, что произошло бы, если бы какие-либо новые страны получили возможность в течение двадцати, тридцати или сорока лет господствовать на внешних или даже внутреннем рынке Соединенных Штатов, продавая там свои товары с этикеткой *"Made in USA"*.

Короче, победа северных стран не объясняется ни лучшим ведением дел, ни естественной игрой промышленной конкуренции (хотя более низкая заработная плата и обеспечивала их продукции бесспорное преимущество), ни Реформацией. Их политика сводилась к тому, чтобы просто занять место прежних победителей, не останавливаясь при этом перед насилием. Нужно ли говорить, что эти правила игры остаются в силе? Насильственный раздел мира во время Первой мировой войны, подвергнутый осуждению Лениным, был не так нов как тому казалось. А разве он не явля-

ется реальностью также и современного мира? Те, кто живет в центре или вокруг центра мира-экономики, по-прежнему обладают всеми правами над другими.

И здесь возникает второй из поставленных выше вопросов: вопрос членения любого мира-экономики на концентрические зоны, все менее благополучные по мере удаления от процветающего центра.

Блеск, богатство, радость жизни соединяются в центре мира-экономики, в его сердце. Именно здесь, под солнцем истории, жизнь обретает свои самые яркие цвета; цены здесь высоки, но высоки и доходы, здесь вы найдете банки и лучшие товары, самые выгодные ремесленные или промышленные производства и организованное на капиталистический лад сельское хозяйство: отсюда расходятся и здесь сходятся дальние торговые пути, сюда стекаются и драгоценные металлы, сильная валюта, ценные бумаги. Здесь образуется оазис передовой экономики, опережающий другие регионы. Путешественник отметит это, попав в XV веке в Венецию, в XVII — в Амстердам, в XVIII — в Лондон, а сегодня в Нью-Йорк. Здесь обычно развиваются самые передовые технологии и их неизменная спутница — фундаментальная наука. Здесь же находят пристанище “свободы”, которые нельзя отнести полностью ни к мифам, ни к реальности. Вспомните, что называлось жизненной свободой в Венеции или свободами в Голландии и Англии!

Это высокое качество жизни заметно снижается, когда попадаешь в соседние страны промежуточной зоны, постоянно соперничающие, конкурирующие с центром. Там большинство крестьян лишены свободы, там вообще мало свободных людей; обмены несовершенны, организация банковской и финансовой системы страдает неполнотой и нередко управляется извне, промышленность и ремесла относительно традиционны. Как ни поражает своим блеском Франция XVIII века, ее уровень жизни не может сравниться с английским. Откормленный Джон Буль потребляет много мяса и носит кожаные башмаки, в то время как тщедушный, изможденный, преждевременно постаревший Жак-простак питается хлебом и ходит в деревянных сабо.

Однако какой далекой и благополучной кажется Франция, когда попадаешь в периферийные районы мира-экономики! Около 1650 года (примем в качестве ориентира эту дату) центром мира является маленькая Голландия или, точнее, Амстердам. Промежуточную, вторичную зону составляет оставшаяся часть активно живущей Европы, т.е. страны побережья Балтийского и Северного морей, Англия, земли Германии, расположенные в долинах Рейна и Эльбы, Франция, Португалия, Испания, Италия к северу от Рима. К периферии относятся — Шотландия, Ирландия, Скандинавия на севере, вся часть Европы, расположенная к

востоку от линии Гамбург — Венеция, часть Италии, лежащая к югу от Рима (Неаполь, Сицилия), наконец, по ту сторону Атлантического океана вся европеизированная часть Америки, составляющая самую далекую периферию. За вычетом Канады и только что возникших английских колоний в Америке, весь Новый Свет целиком живет под знаком *рабства*. Точно также вся Восточноевропейская периферия, включая Польшу и лежащие за ней земли, представляет собой зону *повторного закрепощения* крестьян, т.е. крепостного права, которое, почти исчезнув, как на Западе, в XVI веке было снова восстановлено.

Короче, европейский мир-экономика в 1650 году являет собой соединение, в котором сосуществуют самые разные общества — от уже капиталистического в Голландии до крепостнических и рабовладельческих, стоящих на самой низшей ступени лестницы общественного прогресса. Эта одновременность, синхронность ставит уже, казалось, решенные проблемы. Действительно, само существование капитализма зависит от этого закономерного расслоения мира: внешние зоны питают промежуточные и, особенно, центральную. Да и что такое центр, если не вершина, если не капиталистическая *суперструктура* всей конструкции? По *закону взаимности*, если центр зависит от поставок с периферии, то и она зависит от потребностей центра; диктующего ей свою волю. Ведь именно Западная Ев-

ропа как бы вновь “изобрела” и экспортировала античное рабство в Новый Свет, именно ее экономические нужды вызвали вторичное закрепощение крестьян в Восточной Европе. Все это придает вес утверждению Иммануэля Валлерстайна о том, что капитализм является порождением неравенства в мире; для развития ему необходимо содействие международной экономики. Он является плодом авторитарной организации явно чрезмерного пространства. Он не дал бы столь густой поросли в ограниченном экономическом пространстве. Он и вовсе не смог бы развиваться без услужливой помощи чужого труда.

Это положение объясняет ход истории иначе, чем привычная *последовательная* схема: рабовладение, феодализм, капитализм. Оно выдвигает во главу угла одновременность, синхронность — категории со слишком яркой спецификой, чтобы их действие оставалось без последствия. Однако и это положение не объясняет всего, да оно и не способно все объяснить. Ограничиваясь одним лишь пунктом, который я считаю крайне существенным для возникновения современного капитализма, я хотел бы кратко показать, что происходит в эту эпоху *за пределами* европейского мира-экономики.

Действительно, до конца XVIII века и возникновения подлинно мировой экономики в Азии существовал ряд прочно утвердившихся и надежно функциониро-

вавших миров-экономик — я имею в виду Китай, Японию, Индию в совокупности с островами Малайского архипелага, Страны Ислама. Как правило, — и, впрочем, справедливо — говорят, что взаимоотношения между этими экономиками и экономикой Европы были поверхностными, что они вовлекали в свою орбиту лишь торговлю некоторыми предметами роскоши, в частности, перцем, специями, шелком, которые покупались за наличные деньги, и что этот обмен был незначительным по сравнению с огромными экономическими массами этих миров. Это, разумеется, верно, но верно и то, что эти ограниченные и рассматриваемые как поверхностные обмены точно отражают *ту* долю, которую определял себе крупный капитал в обоих мирах, и это не является, просто не может быть случайным. Я даже прихожу к мысли, что любой мир-экономика часто управляется снаружи. Это настойчиво утверждает долгая история Европы, и никому и в голову не придет упрекать ее в том, что она выделяет, как исключительные, такие события, как прибытие Васко да Гамы в Каликут в 1498 году, остановка в 1595 году голландца Корнелиуса Хаутмана в Бантаме, в то время крупном городе на острове Ява, победа Роберта Клайва в битве при Плесси в 1757 году, отдавшая Бенгалию в руки англичан. Судьба носит семи-мильные сапоги и наносит удары издалека.

III

Я уже говорил о существовании в Европе целой последовательности сменявших друг друга миров-экономик, когда рассказал о центрах, которые поочередно их образовывали и вдыхали в них жизнь. Следует уточнить, что до 1750 года такими господствующими центрами были всегда города, города-государства. Ибо об Амстердаме, еще господствовавшем в середине XVIII века над миром-экономикой, можно сказать, что это был последний в истории город-государство, *полис*. За ним лишь слабо угадывается тень правящих институтов Соединенных провинций. Амстердам царит один, как яркий маяк, который виден в любой точке мира от Антильских островов до берегов Японии. Однако примерно около середины века Просвещения начинается другая эпоха. Новый центр, Лондон — уже не город-государство, это столица Британских островов, дающих городу непреодолимую силу *национального рынка*.

Итак, две фазы: фаза экономик, создаваемых и доминируемых городами, и фаза национальных экономик. Все это мы рассмотрим очень бегло, не только потому что вы в курсе этих известных фактов, не только потому что я уже об этом говорил, но также и потому,

что единственное, что следует принимать в расчет, на мой взгляд, это совокупность этих известных фактов, ибо лишь с учетом этих фактов в их совокупности проблема капитализма предстает и освещается по-новому.

До 1750 года Европа поочередно вращалась вокруг одного из главных городов, превращавшихся благодаря их особой роли в священных идолах — вокруг Венеции, Антверпена, Генуи, Амстердама. Между тем, ни один из городов этого ранга не господствовал над экономической жизнью в XIII веке. Европа, однако, к этому времени уже представляла мир-экономику, обладающий своей структурной организацией. Средиземное море, завоеванное на некоторое время мусульманами, вновь стало открытым для христианского мира, и благодаря торговле с Левантом Запад приобрел там важные форпосты, без которых, разумеется, не может идти и речи о существовании какого-либо мира-экономики, достойного такого названия. При этом в Европе отчетливо обозначились два ведущих региона — Италия на Юге и Нидерланды на Севере. Вся же система обрела свой центр тяжести между двумя этими зонами, на полпути между ними: им стали ярмарки Шампани и Бри, ярмарки, образовавшие нечто вроде искусственных городов в окрестностях Труа — почти большого города — и трех городов поменьше: Провен, Бар-сюр-Об и Ланьи.

Было бы преувеличением сказать, что этот центр тяжести пришелся на пустое место, тем более, что он был не очень удален от Парижа, бывшего тогда крупным торговым центром, чье значение усиливалось благодаря великолепию двора Людовика Святого и исключительному престижу Парижского университета. Все это чутко уловил историк гуманизма Джузеппе Тоффанин, написавший книгу с характерным названием *“Век без Рима”* (*“Il Secolo senza Roma”*), имея ввиду XIII век, в течение которого Рим утратил, а Париж приобрел культурное первенство в Европе. Между тем, очевидно, что блистательное положение Парижа в этот период имеет некоторое отношение к шумным и деятельным ярмаркам Шампани, бывшим почти постоянно действующим местом международных встреч купцов. Сукно и полотно с Севера, из Нидерландов, в широком смысле этого географического понятия, из обширной туманности семейных мастерских, обрабатывающих шерсть, пеньку, лен на пространстве от Марны до Зейдер-Зе, обменивались на перец, пряности и серебро итальянских торговцев и ростовщиков. Этих ограниченных обменов предметами роскоши хватило, однако, для того, чтобы запустить огромный механизм торговли, промышленности, транспорта и кредита, сделав эти ярмарки экономическим центром Европы того времени.

Закат ярмарок Шампани происходит в конце XIII

века по разным причинам: здесь и установление прямой связи по морю между Средиземноморьем и Брюгге, начиная с 1297 года — морской путь одерживает верх над сухопутным, здесь и использование торговых маршрутов между Севером и Югом, пролегающих через немецкие города, через перевалы Симплон и Сен-Готар, здесь, наконец, и развитие производства в итальянских городах: раньше они довольствовались тем, что окрашивали суровые ткани, доставленные с Севера, теперь же они сами начали их выпуск; во Флоренции начинает развиваться шерстяное производство (*Arte della lana*). Главной же причиной был тяжелый экономический кризис, последовавший вскоре после эпидемии “черной смерти” в XIV веке и сыгравший свою обычную роль: Италия, наиболее сильный из участников ярмарок в Шампани, вышла из этого испытания победительницей. Она приобрела или вернула себе роль неоспоримого центра европейской жизни. Она стала контролировать все обмены между Севером и Югом, и к тому же товары, прибывавшие в Италию с Дальнего Востока через Персидский залив, Красное море и перевозимые караванами Леванта, заведомо открывали для нее все рынки Европы.

По правде говоря, первенство Италии в течение долгого периода означало одновременное господство четырех городов — Венеции, Милана, Флоренции и Генуи. Лишь после поражения Генуи в 1381 году на-

чалось долгое, не всегда спокойное царствование Венеции. Оно, однако, продлилось более века — пока Венеция продолжала господствовать в торговле с Левантом и оставалась для всей Европы, толпившейся в ее передней, основным поставщиком изысканных товаров. В XVI веке Антверпен потеснил город Св.Марка — а дело в том, что он превратился в гигантский склад перца, доставляемого португальцами через Атлантический океан в порт на Шельде, благодаря чему он стал огромным центром, подчинившим торговлю в Атлантике и Северной Европе. Затем, по ряду политических причин, связанных с войной между Испанией и Нидерландами, которые было бы слишком долго подробно излагать, доминирующее положение заняла Генуя.

Богатство города Св.Георгия основывалось на торговле не с Левантом, а с Новым Светом и Севильей, а также на притоке белого металла из американских рудников, который Генуя поставляла для всей Европы. Наконец, всех примиряет Амстердам; его долгое, более чем полуторавековое господство на просторах Балтийского моря до Леванта и до Молуккских островов объясняется, главным образом, его неоспоримым господством, с одной стороны, над торговлей товарами Севера, а с другой — на рынках заморских пряностей: корицы, гвоздики и т.д. в результате быстрого захвата всех источников этих товаров на Дальнем Востоке. Его

почти монопольное положение позволяло ему практически в любых делах считаться лишь с собственными интересами.

Оставим, однако, эти города-империи и поскорее перейдем к сложной проблеме национальных рынков и национальных экономик.

Национальная экономика представляет собой политическое пространство, превращенное государством в силу потребностей и под влиянием развития материальной жизни в *связное* и унифицированное экономическое пространство, деятельность различных частей которого может быть объединена в рамках одного общего направления. Одной лишь Англии удалось в достаточно ранний срок реализовать такое свершение. Применительно к этой стране нередко употребляют слово “революция”: сельскохозяйственная революция, политическая революция, финансовая революция, промышленная революция. К этому списку следует добавить еще одну революцию, подобрав для нее соответствующее название, — я имею в виду революцию, приведшую к созданию в стране национального рынка. Отто Хинце, критикуя Зомбарта, одним из первых обратил внимание на значение этого преобразования, ставшего возможным благодаря относительно обилию на сравнительно небольшой территории транспортных средств: морские каботажные пути дополнялись плотной сетью рек и каналов, а также многочислен-

ным гужевым транспортом. С помощью посредничества Лондона английские провинции обменивают и экспортируют свою продукцию, к тому же английское пространство очень рано избавилось от внутренних таможен и пошлин. Наконец, Англия в 1707 году объединилась с Шотландией, а в 1801 году — с Ирландией.

Вы скажете, что все это уже было осуществлено в Соединенных провинциях, однако их территория была незначительной и не могла даже прокормить собственное население. Поэтому внутренний рынок почти не принимался в расчет голландскими капиталистами, чья деятельность была полностью ориентирована на внешние рынки. Что касается Франции, то она столкнулась со слишком многочисленными препятствиями, среди них — и экономическое отставание, и слишком большая территория, слишком скромный доход на душу населения, затрудненные внутренние связи и, наконец — отсутствие полноценного центра. Таким образом, это была слишком обширная для тогдашнего транспорта страна, слишком разноликая, слишком неорганизованная. Эдварду Фоксу не составило большого труда показать в своей нашумевшей книге, что в ту пору существовали по меньшей мере две Франции: одна из них — морская держава, живая и гибкая, полностью захваченная волной экономического подъема XVIII века, однако, недостаточно связанная с материковой частью страны и полностью устремленная во

внешний мир; другая — континентальная страна, приземленная, консервативная, привязанная к местным горизонтам, не сознающая преимуществ международного капитализма. Именно этой второй Франции, как правило, принадлежала политическая власть. К тому же административный центр государства, Париж, расположенный в глубине его территории в то время даже не был экономической столицей страны — эта роль долгое время принадлежала Лиону (начиная с 1461 года, когда в этом городе начали проводиться крупные ярмарки). Смещение центра в пользу Парижа наметилось лишь в конце XVI века, однако настоящей смены центра не произошло. Только после 1709 года и “банкротства” Самюэля Бернара Париж стал экономическим центром французского рынка, а последний, после реорганизации в 1724 году Парижской биржи, начал играть подобающую ему роль. Между тем, время уже было упущено, и хотя в правление Людовика XVI экономическая машина работала на полных оборотах, она уже не могла привести в движение и заставить работать все экономическое пространство страны.

Судьба Англии была куда проще. В стране был только один центр — Лондон, уже с XV века ставший экономическим и политическим центром Англии. Быстро сформировавшись, он одновременно формировал английский рынок в соответствии со своими нуждами,

т.е. в соответствии с потребностями местных купцов.

С другой стороны, островное положение помогло Англии отделиться от внешнего мира и не допустить вторжения в страну иностранного капитала. Так, в 1558 году, благодаря Томасу Грэшему и созданию прообраза Лондонской биржи (*Stock Exchange*). Англия обезопасила себя перед лицом экономической мощи Антверпена, а в 1597 закрытие Стального двора (*Stahlhof*) и отмена привилегий его постояльцев положили конец влиянию ганзейцев. Против Амстердама был направлен первый Навигационный акт, изданный в 1651 году. В то время Амстердам контролировал основную часть европейской торговли. Однако у Англии имелось средство давления на Амстердам: дело в том, что голландские парусные суда, в силу господствующего направления ветров, постоянно нуждались в заходах в английские порты. Именно этим объясняется та терпимость, с которой Голландия отнеслась к протекционистским мерам Англии — подобных мер она не потерпела бы со стороны никакой другой державы. Как бы то ни было, Англия сумела защитить свой национальный рынок и нарождающуюся промышленность лучше, чем любая другая страна Европы. Победа Англии над Францией, долго готовившаяся и рано начавшая принимать реальные очертания (на мой взгляд, начиная с Утрехтского мирного договора 1713 года), делается очевидной в 1786 году (договор Идена)

и становится триумфом в 1815.

Возвышение Лондона перевернуло страницу в экономической истории Европы и всего мира, ибо установление экономического господства Англии, распространившегося также и на сферу политики, означало конец многовекового периода экономик, отводивших ведущее место городам, периода миров-экономик неспособных, несмотря на размах и аппетиты европейского капитализма, удерживать под своим влиянием весь остальной мир. Англии же удалось не только вытеснить Амстердам и повторить его успех, но и превзойти его.

Это завоевание мира было трудным, чреватым инцидентами и драматическими эпизодами, однако английское господство сохранилось, преодолев все препятствия. Впервые европейская экономика, потеснив другие, стала претендовать на доминирующую роль в мировой экономике и отождествляться с нею в мире, где любые препятствия отступали вначале перед англичанином, а затем перед европейцем. И так продолжалось вплоть до 1914 года. Андре Зигфрид, родившийся в 1875 году, и которому в начале нашего века исполнилось двадцать пять лет, значительно позднее, в мире, ошетилившемся границами, с восхищением вспоминал, как он в молодости совершил кругосветное путешествие, имея в качестве единственного документа, удостоверявшего личность, обычную визитную

карточку. Это было чудом *раx britannica** существовавшего, разумеется, за счет некоторого числа людей, оплачивавших его цену...

IV

Английская промышленная революция, о которой нам остается рассказать, явилась для английского господства омолаживающим омовением, источником нового могущества. Однако не беспокойтесь, я не брошусь, очертя голову, в бескрайние воды этой огромной исторической проблемы, которая, по правде, сохранилась до наших дней и неотступно преследует нас. Промышленность по-прежнему окружает нас со всех сторон и грозит новыми революциями. Успокойтесь, я намерен вам описать лишь начало этого бескрайнего движения, я удержусь от обсуждения блистательных контроверз, занимающих внимание историков, прежде всего англосаксонских, но также и других. К тому же задача моя ограничена: я хочу выяснить, в какой степени английская промышленная революция следует выстроенным мною схемам и моделям, и в какой сте-

* Мир по-британски (лат.)

пени она вписывается в общую историю капитализма, и без того столь богатую эффектными эпизодами.

Отметим, что слово “революция” здесь, как это, впрочем, всегда делается, употребляется в несвойственном его природе значении. Согласно этимологии, революция — это поворот колеса, оборот вращающегося светила, т.е. быстрое движение — едва оно началось, уже известно, что оно вскоре завершится. Между тем, промышленная революция была преимущественно медленным, а вначале едва различимым явлением. Уже при жизни Адама Смита появились ее первые признаки, однако он их не заметил.

Не находим ли мы сегодня свидетельств того, что промышленная революция представляет собой медленный, сложный, с трудом идущий процесс? На наших глазах часть третьего мира переживает промышленную революцию, которая проходит, однако, с такими неслыханными трудностями, такими многочисленными срывами и столь медленно, что а priori* это кажется аномальным. То аграрный сектор оказывается невосприимчивым к модернизации, то не хватает квалифицированной рабочей силы, то недостаточен спрос на внутреннем рынке, то местные капиталисты предпочитают вкладывать свои средства не в своей стране, а за рубежом, где инвестиции более надежны и выгод-

* априори, изначально (лат.)

ны, то в государственном аппарате обнаруживается бесхозяйственность или коррупция, то импортная техника оказывается непригодной для использования или давит слишком тяжким грузом на себестоимость продукции, то выручка от экспорта не компенсирует затраты на импорт, т.е. международный рынок по той или иной причине проявляет враждебность, и она играет роковую роль. Между тем все эти осложнения возникают отнюдь не у пионеров промышленных революций в то время, когда существуют готовые модели, которым, казалось бы, может следовать всякий. *A priori* все просто. Но почему-то все движется с большим трудом.

На самом деле, не напоминает ли ситуация в этих странах то, что происходило в мире до прорыва Англии, т.е. провал многих технически возможных, но не реализованных промышленных революций прошлого? В Египте эпохи Птолемеев была известна сила пара, однако она служила лишь забавой. Римляне располагали значительным фондом технических и технологических достижений, забытых в период раннего Средневековья и возвращенных к жизни лишь в XII-XIII веках. В эти века начинающегося возрождения количество источников энергии в Европе возрастает просто фантастически, благодаря распространению водяных мельниц, известных еще в Риме, а также ветряных мельниц — это уже можно назвать промышленной ре-

волюцией. Имеются сведения о том, что в Китае в XIV веке был известен коксовый чугун, однако это революционное изобретение осталось без всяких последствий. В XVI веке в глубоких шахтах внедряется целая система подъема, перекачивания, оттока воды, однако эти первые современные фабрики, вызвав в ходе своего становления интерес капитала, вскоре стали жертвами закона снижения производительности. В XVII веке в Англии расширяется использование каменного угля, и Джон Ю.Неф справедливо говорит в этой связи о первой английской революции, впрочем, эта революция не сумела распространиться вширь и вызвать глубокий переворот в тогдашней жизни. Что касается Франции, в XVIII веке там наблюдаются явные признаки промышленного развития, одно за другим следует ряд технических изобретений, и успехи фундаментальной науки по меньшей мере столь же блестящи как и по другую сторону Ла-Манша. Однако именно в Англии были сделаны решающие шаги. Все там шло естественно, как бы само собой, и в этом состоит увлекательнейшая загадка, которую загадала первая в мире промышленная революция, обозначившая самый большой разрыв в истории нового времени. Так все же почему Англия?

Английские историки столь усердно исследовали эти проблемы, что историк-иностранец может легко потеряться в гуще споров, каждый из которых ему по-

нятен в отдельности, но сумма которых отнюдь не дает простого объяснения. Единственно, в чем можно быть уверенным, так это в том, что простые и традиционные объяснения признаны неудовлетворительными. Все более и более утверждается тенденция рассматривать промышленную революцию как совокупное явление и как явление медленное, а следовательно, восходящее к дальним и глубоким истокам.

На фоне трудного и хаотического роста экономики в слаборазвитых зонах современного мира, о которых я только что говорил, самым удивительным — не правда ли? — является то, что бум английской машинной революции, ставшей первым опытом массового производства, принял в конце XVIII, в XIX веке и далее форму фантастического роста национальной экономики — и при этом *нигде и ни разу двигатель этого развития не заклинило*, нигде и ни разу не возникали узкие места. Английская деревня обезлюдела, но сохранила свой производственный потенциал; новые промышленники нашли необходимую им квалифицированную рабочую силу; внутренний рынок продолжал развиваться, несмотря на растущие цены; продолжалось и развитие техники, предлагавшей в нужный момент свои услуги; внешние рынки один за другим открывались перед английскими товарами. И даже снижение прибылей, например, резкое падение рентабельности хлопчатобумажного производства после

первого бума, не вызвало кризиса; накопленные огромные капиталы были вложены в новое дело и на смену хлопчатобумажной промышленности пришла железная дорога.

В целом, все секторы английской экономики оказались на высоте этого внезапного всплеска производственной активности, не было никаких задержек, никаких перебоев. Так, значит, дело во *всей* национальной экономике в целом? К тому же революция в английской хлопчатобумажной промышленности вышла снизу, из обыденной жизни. Открытия чаще всего делались ремесленниками. Промышленники нередко были выходцами из низших сословий. Инвестируемые капиталы были вначале небольшими и с легкостью занимались. Таким образом, не уже накопленные богатства, не Лондон с его торговым и финансовым капитализмом стояли у истоков этого удивительного превращения. Только после 1830 года Лондон установил свой контроль над промышленностью. На этом широком примере прекрасно видно, что капитализм, который вскоре получит название промышленного, опирался на силу и жизнеспособность рыночной экономики и даже базового слоя экономики, мелкой, но склонной к новаторству промышленности и не в меньшей степени на всю действующую систему производства и обменов, которая вынесла этот капитализм на своих плечах. Последний рос, формировался и набирал силу лишь в

той мере, в какой это позволяла та экономика, которая служила ему опорой.

При всем этом, однако, английская промышленная революция, безусловно, не смогла бы стать тем, чем она стала в отсутствие условий, благодаря которым Англия практически сделалась безраздельной хозяйкой мировых просторов. Этому, как известно, в значительной мере способствовали Великая французская революция и наполеоновские войны. И если хлопковый бум в течение долгого времени принимал все более широкий размах, то это потому, что его постоянно стимулировало открытие новых рынков: португальских, а затем испанских владений в Америке, Оттоманской империи, Индии... Мир, сам того не желая, был активным пособником английской промышленной революции.

В свете сказанного столь острая дискуссия между теми, кто допускает объяснение успехов капитализма и промышленной революции лишь внутренними причинами и преобразованием социально-экономических структур в стране, и теми, кто не желает видеть ничего другого кроме *внешних* причин (сводящихся, по сути дела, к империалистической эксплуатации остального мира), на мой взгляд, является беспредметной. Эксплуатировать мир не может любой желающий. Для этого необходимо обладать изначальным могуществом, которое не созревает быстро. В то же время очевидно,

что такое могущество, сформировавшееся в результате долгой работы над собой, усиливается путем эксплуатации других, и в ходе этого двойственного процесса дистанция, отделяющая могущественную державу от других стран, увеличивается. Так что оба объяснения (с помощью внутренних и внешних причин) оказываются неразрывно связанными.

Наступило время подводить заключительные итоги. Я, впрочем, не уверен, что читая эти лекции, мне удалось вас в чем-либо убедить. Однако я еще более сомневаюсь, что мне это удастся теперь, когда, в заключение моего сообщения, я скажу вам, что я думаю о сегодняшнем мире и современном капитализме, в свете того, что они представляли собой вчера, и согласно тому, как я их вижу, и как я попытался их вам описать. Разве не следует доводить историческое объяснение до современности — так, чтобы эта встреча с сегодняшним днем его подтверждала и оправдывала?

Конечно, масштаб и пропорции современного капитализма фантастическим образом изменились. Он стал вровень со столь же фантастически возросшими обменов на базовом уровне и полученными в свое распоряжение средствами. Однако я не думаю, чтобы *mutatis mutandis** природа капитализма полностью при этом изменилась.

* С необходимыми поправками (лат.)

В подтверждение этого мнения я могу привести три доказательства:

— Капитализм по-прежнему основывается на использовании международных ресурсов и возможностей, он существует в мировом масштабе, по крайней мере, он стремится заполнить весь мир. И главная его нынешняя забота состоит в восстановлении этого универсализма.

— Он всегда с необыкновенной настойчивостью опирается на монополии де-факто, несмотря на яростное противодействие, с которым он при этом сталкивается. *Организация*, как ныне выражаются, по-прежнему приводит рынок в действие. Однако было бы ошибкой видеть в этом по-настоящему новое явление.

— Более того, вопреки тому, что обычно говорится, капитализм не распространяется на всю экономику, на все занятое трудом общество; он никогда не заключает ни того, ни другого в свою, как утверждают, замкнутую и совершенную систему. Тройное членение, о котором я вам говорил, на материальную жизнь, рыночную экономику и капиталистическую экономику (последнюю со значительными дополнениями), сохраняет удивительную разрешающую способность и объяснительную силу. Чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть изнутри на некоторые характерные виды деятельности, существующие в настоящее время на каждом из упомянутых этажей. На самом

нижнем даже в Европе вы найдете еще множество примеров самодостаточности, услуг, не учитываемых официальной статистикой, массу ремесленных мастерских. На среднем этаже возьмем пример производителя готового платья — производство и сбыт продукции подчинены строгому и даже жесткому закону конкуренции; минутная невнимательность или слабость с его стороны означают для него крах. Что касается последнего, верхнего этажа, то я мог бы привести вам, помимо многого другого, пример двух известных мне крупных фирм — французской и немецкой, — якобы конкурирующих между собой и вытеснивших всех других конкурентов с европейского рынка. При этом совершенно безразлично, в какую из них поступят заказы, поскольку произошло слияние их интересов — неважно каким способом.

Я подтверждаю, таким образом, свое мнение, к которому лично я пришел далеко не сразу: капитализм вырастает преимущественно на вершинных видах экономической деятельности или, во всяком случае, тяготеет к таким вершинам. Как следствие этого, такой капитализм “высокого полета” парит над двойным низлежащим слоем — материальной жизнью и связанной рыночной экономикой, являясь зоной высоких прибылей. Я поместил его, таким образом, в высшую область. Вы можете упрекнуть меня в этом, но не один я придерживаюсь такого мнения. В брошюре *“Империа-*

лизм, как высшая стадия капитализма”, написанной в 1917 году, Ленин дважды делает следующее утверждение: “Капитализм есть товарное производство на высшей ступени его развития; несколько десятков тысяч крупных предприятий являются всем, в то время как миллионы мелких — ничем”*. Однако эта истина, очевидная в 1917 году, является старой, очень старой истиной.

Недостаток исследований, проводимых журналистами, экономистами, социологами, нередко состоит в том, что их авторы не учитывают исторических масштабов и перспектив. Да и многие историки, впрочем, поступают подобным образом — как будто изучаемый ими период существует сам по себе, содержит в себе собственные начало и конец. Так, Ленин, человек, между тем, проницательного ума, писал в той же брошюре в 1917 году: “Для старого капитализма, с полным господством свободной конкуренции, типичен был вывоз товаров. Для новейшего капитализма, с господством монополий, типичным стал вывоз капитала”. Эти утверждения более чем спорны: капитализм всегда был монополистическим, а товары и капиталы всегда перемещались одновременно, поскольку капиталы и кредиты всегда были самым надежным средством

* Вторая часть цитаты (после точки с запятой) дана в обратном переводе, так как в отечественных изданиях этот фрагмент отсутствует (прим перев.).

выхода на внешний рынок и его завоевания. Задолго до XX века вывоз капитала был повседневной реальностью — для Флоренции начиная с XIII века, для Аугсбурга, Антверпена и Генуи — с XVI. В XVIII веке капиталы путешествуют по Европе и по всему миру. Надо ли повторять, что все те методы, приемы, уловки, к которым прибегает капитал, не родились между 1900 и 1914 годами. Все они давно известны капитализму, а его сила и характерная особенность в том и состоит, чтобы переходить от одной хитрости к другой, от одной формы воздействия к другой, десятикратно перестраивая свои порядки в зависимости от обстоятельств и конъюнктуры, оставаясь при этом в достаточной мере приверженным своей сути, тождественным самому себе.

О чем я особенно сожалею — не как историк, а как человек своего времени, — так это о том, что и в капиталистическом, и в социалистическом мире упорно отказываются различать капитализм и рыночную экономику. Тем, кто на Западе возмущается жестокостями капитализма, политики и экономисты отвечают, что это наименьшее из зол, неизбежная обратная сторона свободного предпринимательства и рыночной экономики. Я же вовсе так не думаю. Тем же, кто проявляет беспокойство — а такие мнения высказываются даже в Советском Союзе — по поводу неповоротливости социалистической экономики и хотел бы при-

дать ей большую гибкость (я сказал бы: большую свободу), также отвечают, что это меньшее зло, неизбежная оборотная сторона избавления от бича капитализма. И в это я тоже не верю. Однако возможно ли вообще создать общество, которое было бы, с моей точки зрения, идеальным? Я, во всяком случае, не думаю, что в мире нашлось бы много сторонников такого общества.

Я охотно закончил бы свое выступление этим общим утверждением, если бы мне, как историку, не нужно было вам сделать последнее признание.

Историю постоянно нужно переписывать, она вечно находится в стадии становления и преодоления самой себя. Ее судьба сходна с судьбой других наук о человеке. Поэтому я не думаю, что книги по истории, которые мы пишем, сохранят все свое значение в течение десятилетий. Нет книг, написанных раз и навсегда, и все мы это знаем.

Мое понимание капитализма и экономики основывается на широком использовании архивов и многочисленных научных источников, на цифрах, которые, однако, в конечном счете не столь многочисленны и не так уж связаны друг с другом, иными словами, скорее, на качественных, нежели на количественных критериях. Вообще, крайне редки монографии, в которых бы приводились кривые развития производства, ставки прибылей, проценты отчислений на накопление, серъ-

езные отчеты о деятельности предприятий, хотя бы примерные оценки износа *основного капитала*. Я безуспешно пытался найти с помощью коллег и друзей более точные сведения в различных областях. Результаты были более чем скромными.

Между тем, на мой взгляд, именно на этом направлении следует искать выход из того круга объяснений, которыми мне, за неимением лучшего, пришлось довольствоваться. Членить для лучшего понимания, членить на три уровня или три этапа — это значит калечить, уродовать экономическую и социальную реальность, которая в действительности значительно сложнее. На самом деле необходимо охватить всю совокупность явлений, чтобы одновременно понять и причины наблюдаемого изменения темпов роста, и особенности машинного производства. Стремящаяся к тотальному описанию, к глобальному охвату история может оказаться возможной, если в область изучения экономики прошлого мы сумеем внести современные методы, учитывающие определенную *совместимость национальных экономик* и строящие некоторую макроэкономику. Проследить изменения национального дохода, дохода *на душу населения*, вернуться к новаторскому историческому труду Рене Береля о Провансе XVII и XVIII веков, попытаться установить корреляцию между “бюджетом и национальным доходом”, постараться измерить разрыв — раз-

личный в разные эпохи — между совокупным и чистым продуктом, как советовал Саймон Кузнец, чьи предположения на этот счет мне представляются первостепенными для понимания современного экономического роста — таковы задачи, которые я охотно предложил бы молодым историкам. В свои книги я время от времени открывал окно то на один, то на другой из таких пейзажей, и они там лишь слегка угадывались. Однако открыть окно недостаточно. Необходимы если не коллективные, то по крайней мере скоординированные исследования.

Все это не означает, разумеется, что такая экономическая история завтрашнего дня будет окончательной и неизменной историей *pe varietur**. Исследование экономической совместимости — это в лучшем случае изучение потока национального дохода и его изменений, но не измерение массы достояний, национальных состояний. Между тем, эта масса, также доступная для изучения, тоже должна быть исследована. Для историков, для представителей других наук о человеке и всех других объективных наук всегда найдется Америка, которую можно будет открывать.

* не подлежащей изменению (лат.)

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ПЕРЕОСМЫСЛИВАЯ МАТЕРИАЛЬНУЮ И ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ

7

ГЛАВА ВТОРАЯ

ИГРЫ ОБМЕНА

41

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ВРЕМЯ МИРА

81

Перевод с французского В. Колесникова

Ответственный за выпуск В. Ружо

Сдано в набор 20 01 93 Подписано к печати 25 02 93
Формат 84×108/32 Бумага офсетная Гарнитура Тип Таймс
Печать офсетная Печ л 4.
Тираж 50 000 экз Зак 2357

ТОО «Полиграмма» 214000, Смоленск, А Я 233 Лицензия 060121
Издание осуществлено при участии ООО «Алфавит» Минск
Минский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат
МППО им Я Коласа 220005 Минск, Красная, 23